

ВАДИМ БЕЛИКОВ

ЧУЖЬ



Вадим Беликов

Чужь

<https://litres.ru/74317803>

SelfPub; 2026

Аннотация

В младенчестве его принесли в жертву — отдали душу неведомому духу, а тело бросили в поле. Знахарка подняла его из мёртвых, но душа осталась у того, кто её забрал. Теперь он ходит по земле с серпом и ржавым мечом. Один глаз — молодой, другой — белёсый, мёртвый, и видит то, чего не видят живые.

Люди зовут его, когда беда приходит в дом. Он не просит серебра. Он берёт самую дорогую вещь, что есть у хозяина. Куклу, лапоть, венок. Он убивает нечисть, но за самой важной добычей не торопится. Его душа где-то там, у старого духа. И однажды он придёт за ней.

Содержание

Глава 1. Чужъ	4
Глава 2. Лобаста	22
Глава 3. Венок	36
Глава 4. Фартук	50
Глава 5. Стекло	64
Глава 6. Отражение	77
Глава 7. Лихо	91
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Вадим Беликов

Чужь

Глава 1. Чужь

Мужик мямл шапку в руках. Пальцы красные, обветренные. Волосы седые, торчали в стороны — видать, только голову от лавки отодрал. Ноздри раздувались.

— Всё худо! Всё худо! — он качал головой, не моргая.

— Истома, угомонись. Привёл я тебе подмогу, — отец Герасим ткнул пальцем мне в грудь. Коснулся — и одёрнул руку.

— Я Зорю просил позвать, знахарку! — Истома взялся за голову, сжал виски. — А ты кого привёл? Ты погляди на него.

У ног мужика стояло ведро. Вода подрагивала. Я заглянул. Ветер трепал локоны — белые спутались с тёмными. Серый глаз моргнул в отражении. Морщин на левой половине лица прибавилось.

— Зоря — сестра моя, — ответил я. В отражении пальцы оглаживали бороду.

— Ещё краше! — Истома отвернулся. Носок сапога бил о сухую землю.

— Полно тебе, — Герасим подошёл, взял его за локоть, развернул к себе. — Поможет Лукьян, не впервой. Ты глав-

ное — не ори. Слушай его, что скажет. И делай.

— У меня внучка нынче-завтра помрёт, и дочь. Хворь у них. Хворь! — голос Истома сорвался в сип. — А ты сюда мужика с серпом вместо тяпки привёл. Герасим, прошу тебя. Может, молитву прочитаешь. Свечу поставишь за здравие Агафьи и Марьяны.

— Бог слышит, истину говорю тебе, — ответил батюшка. — Но порой испытание шлёт каждому из нас.

— Испытание? В болячках таких, от коих конидохнут?!

— Для духа твоего, — продолжил Герасим. Голос тихий, плёлся как повилика. — И для духа дочери твоей, и внучки.

— Утешил! — Истома сбросил его руку.

— Ты ведёшь себя как баба безумная, — сказал я. — Решай: нужна помощь? Или будешь визжать как свинья резаная.

Герасим застыл. Рот приоткрылся — нижняя губа отвисла, обнажив щербину меж зубов. Пальцы, что держали Истому, разжались и повисли в воздухе.

Истома поперхнулся воздухом. Глаза выпучил, веки задрожали. Шапка выпала из рук, упала в пыль. Он перекрестился — мелко, суетливо, словно муху согнал. И замер, глядя на меня.

— Лукьян, ты полегче. Беда у человека, — батюшка натянул улыбку. Губы дрогнули, но не удержались — сползли.

— Если беда, то решать надо. А он орёт, — я размял плечи. Шея затекла, хрустнула.

Они переглянулись. Истома выдохнул. Пальцы нашарили кошель на поясе, потянули, протянул мне. В ладони лёг тяжело — алтын, может, два.

— Вот... серебро.

— Такое не беру.

— Молоком не дам. Дочь не кормит грудью Агафью.

— Еду себе оставь.

— Тогда что взамен хочешь? — кошелёк исчез за пазухой.

— Отдашь мне самую дорогую вещь, что имеешь.

Истома сузил взгляд. Челюсть качнулась вправо-влево, желваки прошлись под кожей.

— Только помоги, — он развернулся, пошёл во двор. У калитки остановился. — И больше так не смей со мной говорить.

Батюшка выдохнул, перекрестился.

— Ты уж разберись. С Богом тебе.

— Не нужно.

Герасим развернулся и пошёл. Ряса на нём была чёрная, выцветшая на плечах до бурого. Подрясник серый, заплатанный на локтях. На груди крест деревянный, простой, без позолоты. Сапоги стоптанные, правый голенищем сполз. Шёл быстро, не оглядывался. Сутулая спина мелькнула меж домов и пропала.

Я остался один у плетня.

Деревня звалась Гниловоды. Два десятка дворов лепились к речушке — мелкой, илистой, зацветшей у берегов зелёной

ряской. Пахло тиной и мокрой глиной. Дома приземистые, рубленые в обло, крытые почерневшей соломой. У некоторых — волоковые оконца, забранные бычьим пузырём. У других — просто дыра, заткнутая тряпкой.

Двор Истома стоял на отшибе. Плетень из ивовых прутьев, местами просевший, подпёртый кольями. Ворота скрипели на одной петле. За плетнём — огород: гряды с пожухлой ботвой, пугало в рваном кафтане, на шесте — конский череп, обмотанный красной нитью.

Дом был низкий, врос в землю по окна. Крыша крыта дранкой, конёк прогнил. Крыльцо покосилось, ступени выщерблены. У двери — пучок сухой полыни, перевязанный бечёвкой. Рядом — ведро, то самое. Вода подрагивала от моих шагов.

Вечерело. Солнце скатывалось за частокол, цеплялось красным за верхушки сосен. Небо на востоке наливалось сизым, как олово. Ветер потянул свежий, с реки — принёс запах осоки, мокрого дерева, дыма от печей.

Я толкнул калитку. Петля взвизгнула, просела. Вошёл.

Двор утоптаный, глина в трещинах — лето сухое стояло. У плетня поленница, топор в колоде. Щепа вокруг — свежая, ещё пахла смолой. Телега без колеса, оглобли в землю врыты. Под навесом — кадка с мутной водой, плавали комариные личинки.

Колодец стоял посреди двора. Сруб низкий, почерневший, мох меж брёвен. Ведро на цепи, цепь ржавая, ворот

скрипнул, когда я заглянул внутрь. Из темноты пахнуло холодом и сырой землёй. Глубина. Вода блеснула далеко внизу.

Обошёл дом. Крыльцо скрипнуло под сапогом. Дверь дубовая, старая, обитая железными полосами крест-накрест. У косяка — пучок чертополоха, сухой, ломкий. Над притолокой — подкова, прибитая концами вверх. Под ногами половица прогнулась, в щель пробилась трава.

Огород начинался за домом. Гряды запущены — ботва свекольная пожухла, капустные листья в дырах, репа вылезла из земли, сморщенная. Пугало торчало посреди — рваный зипун, набитый соломой, вместо головы горшок с разбитым боком. Ветер трепал рукава. У плетня крапива в рост человека, за ней — крапива помельче, уже обожжённая солнцем.

Собачья будка стояла у сарая. Сбита из горбыля, крыша крыта дранкой. Пёс лежал внутри — серый, клочковатый, рёбра наружу. Дышал часто, поверху. Глаза открыты, мутные, смотрели мимо.

Я присел. Протянул руку ладонью вверх. Пальцы остановились у самой морды — шерсть не шелохнулась. Нос сухой, горячий, потрескавшийся. Пёс не пошевелился. Даже глазом не повёл. Только бок ходил — вдох, выдох, вдох, выдох.

Встал. Отряхнул колено. Пошёл к дому. С крыльца ещё раз оглядел двор. Тихо. Только кузнечики трещали в крапиве да ветер скрипел незапертой ставней.

Толкнул дверь. Та подалась с хрипом, изнутри пахнуло кислым — пот, прелая солома, застоявшийся дым. В сенях

темно, под ногой хрустнула луковая шелуха. Перешагнул порог в горницу.

Душно. Печь топилась, хотя на дворе лето. Угли дышали красным, жар волнами ходил по избе. Пахло варёной репой, кислым молоком и ещё чем-то — сладковатым, тяжёлым.

Стол стоял у стены, грубо сбитый, без скатерти. На нём — глиняная миска с мутным взваром, краюха хлеба, засохшая до камня. Ложка деревянная, обгрызенная. Истома сидел в углу, на лавке. Спина сгорблена. Ложкой бил по краю миски — мерно, бездумно. Тук. Тук. Тук.

Вдоль стены — лежанка, застеленная рядниной. Рядом — люлька, плетёная из ивового прута, подвешенная к матице. В люльке лежал младенец. У люльки сидела девушка.

Молодая. Лет семнадцать, может, меньше. Волосы русые, сальные, прилипли к вискам. Лицо бледное, щёки впалые. Глаза серые, с красными прожилками — не спала давно. Рубаха простая, льняная, пятна пота под мышками. Грудь плоская — не кормила. Пальцы тонкие, с обкусанными ногтями.

Я присел на корточки напротив неё. Доски подо мной скрипнули, прогнулись. Гнилые.

Девушка качала ребёнка. Мерно, вправо-влево. Ладонь придерживала головку, большой палец гладил висок. Губы шевелились без звука.

— Ты Агафья? — спросил я.

— Я, — голос тихий, нос заложен. Шмыгнула раз.

— А это Марьяна? Дочь твоя?

— Да ты умён, — буркнул Истома из-за стола.

Я обернулся.

— Мне правда надо при дочери тебя из дома выбрасывать?

Мужик застыл. Ложка повисла над миской.

— Что у тебя с лицом? — спросила Агафья.

Я провёл пальцами по морщинам. Сухие, глубокие, как трещины в глине.

— Это... ну, я таким родился.

— Проклятье у тебя? Как и у нас?

— Не думаю. — Я встал. Доски снова скрипнули. — Можно осмотреть малыша?

Агафья кивнула.

Я наклонился над люлькой. Младенец лежал на спине. Укутан в овчинный обрывок, грязный, свалявшийся. Дышала часто-часто, рёбрышки ходили под кожей, как у загнанного зайца. Глаза приоткрыты — белки синеватые, мутные. Губки сухие, потрескались. Ручки поверх овчины — тонкие, синюшные, ноготки чёрные.

Я откинул край накидки. Ножки такие же — синие, холодные на вид. Пальчики скрючены, будто хватались за что-то в воздухе.

Взял младенца за подбородок, повернул голову вбок. Нашее — следы. Три пятна, сизые, с жёлтым ободком. Рядом — царапины, свежие, тонкие.

Я подошёл к Агафье. Она подняла голову, замерла. Паль-

цы застыли на люльке.

— Шею покажи.

Она отвела волосы в сторону. Кожа бледная, влажная от пота. На горле — следы. Четыре пальца, сизые, с багровым отливом. У ключицы — царапина, тонкая, запёкшаяся. Ещё одна — за ухом, уходит под волосы.

— Откуда? — я провёл пальцем по шраму. Кожа холодная.

— Встала с утра. Уже были. Каждый день так.

— Соседка сказала, потому что грудью не кормим, — буркнул Истома.

— Соседка ваша — глупая баба. Бестолковая. Не слушайте её.

Я выпрямился, оглядел потолок. Балки чёрные, в саже, по углам паутина висела клочьями. Стены брёвна — серые, в трещинах, кое-где мох пророс. Из щелей торчала пакля. В красном углу икона — Божья Матерь, доска потрескалась, лик потемнел.

— А кого слушать-то? Тебя? Ну поведай нам мудрости свои, невоспитанный, — Истома хлебнул взвар. Бороду вытер рукавом.

— Гибнет всё у вас тут. Гниёт. На дворе разруха, — я обвёл горницу взглядом. — Либо хозяин из тебя никакой, либо убить хотят вас.

Истома ударил кулаком по столу. Миска подпрыгнула, взвар плеснул через край. Он встал, палец нацелил мне в

грудь.

— Да ты... урод... как ты смеешь такое говорить? Я не хозин? Да ты хоть знаешь, кем я был?

— Папа, хватит. Марьяну разбудишь, — сказала Агафья. Ребёнок всхлипнул. Истому сжал губы, рванул дверь и вышел во двор.

— Обидел я его? — спросил я.

Агафья подняла бровь. Уложила младенца на лежанку — та заснула, пальчики вздрагивали во сне.

— У тебя мужик есть?

— В женихи набиваешься? — она улыбнулась устало. Губа треснула, выступила сукровица.

— Нет.

— Мой мужик на войну пошёл. Татары убили.

Она поднялась с лавки. Пальцами собрала волосы, скрутила в жгут, перекинула через плечо. Коса легла на грудь — русая, тусклая. Забегала по избе: платок с крюка сорвала, накинула на плечи. Рубаху одёрнула, пояс затянула потуже. Смахнула крошки со стола в ладонь — и замерла, будто забыла, зачем.

— Куда ты?

— К жениху, — она махнула косой через плечо, поправила платок. — Я скоро.

Босая, вышла в сени. Дверь хлопнула. За окном мелькнул её платок — и пропал за калиткой.

Выглянул в окно. Бычий пузырь мутный, в разводах, но

видать.

Истома стоял у поленницы. Рубаха на спине взмокла, прилипла к лопаткам. Топор взлетал над головой — ржавый, с щербатым лезвием. Опускался. Чурбак разваливался надвое, щепки летели в стороны. Дрова колол зло, без нужды. Ударил раз, другой. Полено треснуло, он отбросил половинки ногой и взялся за новое. Печь и так пылала. В горнице уже дышать нечем.

— Куда он дрова колет? Угореть хочет в своей лачуге? — я почесал бороду.

Взял со стола кружку с его взваром. Поднёс к носу. Запахло кислым — перебродившая рожь, зола, что-то горькое. Отхлебнул глоток. На языке разлилась горечь, обожгла нёбо. Остатки мёда на дне не спасали — только сладость гнилая, как от падали. Я скривился.

— Гадость.

Поставил кружку на стол. Подошёл к лежанке. Марьяна лежала на спине. Дыхание частое, мелкое — грудка вздымалась и опадала. Губки синие, потрескавшиеся. Ручки раскинуты, пальчики скрючены. Из-под приоткрытых век — белёсая муть. Спала.

— Родственники твои побежали кто куда. Оставили тебя одну, — сказал я, глядя на младенца. — Мог бы посочувствовать тебе... Да таких не выбирают. Смирись.

Дверь скрипнула. Агафья вошла — тихо, босая. Платок сбился на плечо. Подол рубахи мокрый от росы.

Я сидел за столом, спиной к стене. Кружка с взваром стояла передо мной — нетронутая. За окном топор Истомы входил в дерево.

Агафья не смотрела на меня. Прошла к лежанке. Шаги медленные, половицы под ней не скрипели. Наклонилась над Марьяной. Взяла на руки — ладонь под головку, другую под попку. Прижала к груди. Губами коснулась лобика — долго, не дыша.

Села на лавку. Пальцами стянула ворот рубахи вниз, оголила грудь — бледную, с синими жилками. Сосок тёмный, набухший. Прижала Марьяну к себе. Девочка завозилась, ротиком нашла сосок, припала. Зачмокала. Пальчики сжали кожу — мелкие, синюшные, но цепкие. Ела.

Агафья подняла глаза на меня. Лицо без движения — ни улыбки, ни хмури. Только веки опускались и поднимались.

Пальцы на поясе нащупали рукоять. Серп вынул медленно — лезвие скользнуло из-за спины, тусклое, в зазубринах. Младенец жадно глотал молоко. Девушка следила за мной — глаза не моргали.

Я вскочил. Остриё нацелил ей в горло. Замер.

Её палец удлинился. Ноготь вырос из плоти — чёрный, гранёный, загнутый. Прижался к шее Марьяны. Впился в кожу.

— Ещё шаг, и умрёт.

Я сглотнул. Опустил серп. Воздух в горнице сгустился, стал влажным, спёртым.

— Давно ты тут?

— А тебе что с этого? Не мешай.

— Отпусти девочку.

— Нет, — она покачала головой медленно, как во сне. Лицо не дрогнуло. — Ты иди отсюда. По добру, по здорову.

— Только с твоей головой.

Ноготь вошёл глубже. Кровь закапала на овчину — тёмная, густая. Марьяна не дёрнулась. Продолжала сосать.

— Жалко её? — спросила она.

— Нет. А тебе? Ты же из этой семьи... была?

— Какая разница?

— Значит, из этой. Ты по ночам мучаешь всех?

Дверь скрипнула. Я обернулся.

Истома вошёл, сгибаясь под вязанкой дров. Сапоги прогрохотали по половицам. Вывалил поленья в угол — глухо, с треском. Выпрямился, отряхнул рубаху. Посмотрел на лежанку.

Марьяна лежала на том же месте, где Агафья её оставила. Одна. Глаза приоткрыты, пальчики скрючены. Дышала часто.

— А где моя дочь? — Истома вытер руки о рубаху.

— Ушла.

— Опять к этому... к Ерше, — он подошёл к лежанке, упёрся пальцами в край. Пальцы побелели. — Тварь бестолковая. Дочь её так плоха, а она шляется. Наследственное это...

Он отвернулся. Подошёл к печи, наклонился, вытащил из-за ухвата бутыль. Мутного стекла, грязная, в подтёках. Горлышко заткнуто тряпицей. Поставил на стол. Рядом — глиняный стакан, щербатый по краю. Налил до самого верха. Пена поднялась шапкой, осела. В нос ударило кислым — брага, густая, мутная.

Поднёс к губам. Глаза бросил на меня.

— Будешь?

— Что это? Воняет.

Он хмыкнул.

— Воняет? Да ты носом не крути. Я её сам гоню. Третий год уже. Рожь беру, солод даю, хмель сам сушу. Бочонок у меня в погребе — дубовый, старый, ещё от бати остался. Там всё томится. Не то что у других — кислятина да муть. Моя — крепкая. С ног валит. Меня пока ни разу. Понял?

Он выпил. Голова запрокинулась, кадык дёрнулся — раз, другой. Остатки браги потёк по бороде. Крякнул, утёрся рукавом. Зажевал хлебной коркой — сухой, чёрствой, макал в миску с взваром. Челюсти работали с хрустом. Крошки посыпались на стол.

— А ты чего это сидишь? — прожевал он. — Знаешь, как помочь нам?

— Знаю.

— Тогда что расселся?

— Ночи жду.

— А что ночью-то?

Я придвинулся к столу. Крошки смёл в кучу. Локти поставил на столешницу.

— Ты лучше мне расскажи. Кто жил тут давно и помер?

Истома покосился. Проглотил кусок — с натугой, будто кость протолкнул. Откинулся к стене. Налил ещё — до краёв.

— Откуда знаешь? Колдун?

— Нет.

— Неважно это. Давно было. — Он уставился в кружку. Пальцы сжали глиняный бок. — Не ковырай душу.

Истома подошёл к лежанке. Наклонился над Марьяной. Поправил овчину — подвернул край, укрыл плечико. Пальцы задержались на щеке младенца. Дёрнулись и ушли.

— Выпьешь — расскажу.

— Я помочь тебе хочу, мужик. Я понимаю: ты вредный, несчастный, пьяница и не хозяин по дому. Хоть чем-то будь полезен семье своей.

— Язык у тебя... — он подошёл ближе. Остановился. Посмотрел на серп. — Сначала ты скажи. Зачем серп носишь? И меч за спиной ржавый. На ратника ты не похож, на знахаря — тоже. Доспех у тебя старый, будто труп обокрал. Ты кто такой?

— Какая разница?

— Должен знать, кому сердце открою.

— Справедливо.

Он подсел рядом. Локти на стол, голову подпёр кулаком.

Стакан поднёс к губам, выпил. Скривился — не то от браги, не то от мысли. Выдохнул. Понесло перегаром — кислым, хлебным, с гнильцой. Закусил коркой.

— Почему лицо у тебя... половина старая, а волосы белые, как снег на пепле?

— Самому загадка, — ответил я.

— Не ври.

— Никогда не вру. Не умею.

— За словами тоже следить не умеешь. Почему?

— Души у меня нет.

Истома поперхнулся. Лицо покраснело, глаза выпучил. Закашлялся — брага пошла не в то горло. Я встал, постучал ему по спине — раз, другой. Горб под ладонью костлявый, трясся.

— Как так... нет? — прохрипел он.

— Нашли меня в поле. Младенцем. Знахарка одна. Лежал я там ночью, полтела уже гнило.

— Ты проклят был?

— Нет. Отец и мать мои в жертву меня принесли. Духу. Но когда знахарка меня увидела, от смерти спасла. Выходила.

Истома смотрел мне в глаза. Лицо посерело. Пальцы на кружке ослабли.

— Ты что такое говоришь? — он осунулся, плечи опустились.

— Ты просил рассказать. Я рассказал. Теперь твой черёд.

— Подожди... то есть... у тебя...

— Был уговор?

— Был, — выдохнул он. Лицо вытер ладонью, уставился в окно. — Дочь была у меня, старшая. Я тогда молод был, десятником в городской страже ходил. Не простой мужик, понимаешь? Меня знали. И дочь моя — Веселиной звали. Красавица. Коса до пояса, глаза зелёные, как тина в пруду. Смеялась — за версту слышать. Плясать любила. Я её замуж хотел выдать. За одного с села — мы с ним дела делали, богатый он был, кожи возил, соль. Звали Ждан. И вот я уже с ним словом заговорился...

Что-то упало. Звякнуло. Истома вздрогнул, обернулся. На полу лежала ложка — слетела со стола. Пот на лбу выступил, виски блестели.

— Продолжай, — сказал я.

— Прознала она всё. Крутила с молодым одним. Бедным, но славным парнем. Кузнецом он был. Звали Радим. Я знал, что они гуляют. Он ей цветы таскал — ромашки луговые, простые. Она от радости плясала по дому, — Истома обвёл горницу рукой. — Тогда тут всё другое было. Половицы новые, жёлтые ещё, смолой пахли. На стене вон там полотенце висело — с красными петухами, жена вышивала. У печи занавеска чистая, льняная. Стол дубовый, только рубленый, без единой щербины. В красном углу икона в серебре. Достаток был. Дым из трубы ровно шёл. А теперь...

Он осёкся. Поскрёб ногтем щербину на столе.

— Ну вот. Приходит она как-то с кольцом.

— От Радима. Говорит, замуж зовёт. — Истома потёр глаз кулаком. — А я ей... кольцо вырвал. Говорю: ты что, дурная? Я тебя в такой дом отдаю — Ждан, достаток, всё по-людски. А ты с этим Радимом якшаешься. Я будущего для неё хотел, понимаешь? А она... молодая...

— И что тогда?

Истома запнулся. Губы задрожали. Смотрел в пол. Пальцы мяли край стола.

— С дома я её выставил. Сказал: жить на улице будешь, пока ума не наберёшься. Потом Радим залетел, ругань была. Я его вышвырнул за шкуру. Она его защищать, я ей дал один раз затрещину. Расплакалась, убежала. Ну, подумал я: молодая, поплачет и вернётся. А её на утро... в камышах нашли. Утопилась.

Угли в печи потрескивали да муха билась в слюдяное оконце.

— Из-за ругани? — я поднял бровь.

— Да. — Истома поднял голову, рот раскрыл. Смотрел в потолок. Слова давались трудно, сквозь хрип. — Я-то думал, вернётся и всё. И забудется это. А она... вон как.

— Ну ты и дурак, Истома, — сказал я. Локти закинул на стол.

— Да знаю я. — Он закрыл лицо руками. Плечи затряслись.

— А кольцо где?

— Под полом спрятал. Клянусь, отдать думал. Уже к ве-

черу рукой махнул — и на неё, и на Радима этого. Будь он проклят.

— Тогда всё ясно. — Я встал, размял плечи. — Дома сегодня я ночью. Один. Забирай ребёнка и идите отсюда. По-дальше.

— Она беременна была. — Истома встал, подошёл к лежанке. Остановился над Марьяной. Пальцы легли на край овчины. — Повитуха сказала.

Мужик опустил голову.

— Вторая дочь у меня, непутевая, но кроме внучки и её никого нет. Терять никого не хочу. — Он выдавил слова сквозь зубы. Подхватил младенца на руки — неуклюже, прижал к груди. Оглянулся на меня. — Скажи... ты родителей своих, кто оставил в поле тебя... ненавидишь ведь? Сильнее всего в жизни?

— Нет. — Я положил серп на стол. Начал снимать доспех. Пластины чешуйчатой брони лязгнули, легли на лавку. — Мне всё равно.

Глава 2. Лобаста

Вечер навалился быстро. Оконце затянуло сизым — ни звезды, ни луны. В горнице стало темно, только угли в печи догорали. По стенам ходили тени от веток снаружи.

Истома собирал ребёнка. Сгрёб овчину, укутал Марьяну плотнее — концы подоткнул под спинку. Сверху обернул рядниной, завязал узлом на груди. Прижал к себе. Девочка не проснулась.

Я сидел за столом. Точильный камень ходил по лезвию серпа — вверх-вниз. Звук тонкий, стальной.

— Мать не вернётся? — спросил я.

— К утру, — ответил Истома.

Он шагнул к порогу. Сапоги простучали по половицам.

— Истома.

Замер.

— Почему следы на шее есть только у ребёнка и у матери?

Ты чист.

Он дышал. Стоял спиной, смотрел на дверь. Молчал. Пальцы на овчине сжались.

— Ты просыпался среди ночи... в ужасе?

— Было пару раз. — Голос глухой.

— Проснулся, весь в поту. Тело как дерево, не моё стало.

Пошевелить не мог — ни рукой, ни головой, ни пальцем.

Свист слышал. Скрип. Кто-то по полу ходил.

— Свист?

— Да. Кошмар какой-то снился. Даже не знаю, правда это или сон.

— Кольцо Веселины где спрятал?

— В углу, где дочь спит. Под досками.

Я отложил камень, подошёл к углу. Там лежала свёрнутая дерюга, поверх — старая ряднина. Прикрыто. Я сдвинул тряпье ногой. Доски серые, в щелях, одна ходила ходуном.

— Радим ещё жив?

— Нет. Через месяц помер, после Веселины. Удавился во сне.

— Иди, Истома. Возвращайся к утру. И кто бы ни пришёл ночью — не открывай. Даже дочери. Запомнил?

Истома кивнул. Дверь толкнул плечом и выбежал наружу, забежал к соседям.

Я подошёл, закрыл створку. Петли скрипнули. Накинул крючок — железо лязгнуло, вошло в петлю. Повернулся к горнице.

Тихо. Печь дышала жаром. Тени от углей дрожали на стенах. Я прошёлся по избе — медленно, от порога к лежанке, от лежанки к столу. Половицы скрипели под сапогами. В углах — темнота густая, непроглядная. Под потолком качнулась паутина. За печью что-то шуршало — мышь.

Остановился у лежанки. Овчина сбита, смята. На ней — вмятина от тела младенца. Рядом, на полу, — капля воска с оплившей свечи. Я наклонился, потрогал. Холодная.

Я присел на корточки. Доска ходила ходуном — поддел ногтем, потянул. Отошла с сухим треском. Под ней земля, утоптанная, вперемешку с трухой. Пальцы загребли глубже — наткнулись на тряпку.

Вытащил. Развернул.

Тряпица ветхая, вылинявшая. Когда-то белая, теперь серая, с бурыми пятнами. Края обтрепались, нитки торчали. Внутри — кольцо.

Простое. Стальное. Кованое вручную — ободок неровный, местами тоньше, местами толще. В одном месте кривизна, будто молот сорвался. Без камня, без насечки. Только царапины — глубокие, старые.

Я сел за стол. Положил кольцо перед собой. Оно легло на столешницу, тусклое, почти чёрное в красном свете углей.

Тронул пальцем. Кольцо покатилося — вправо, влево. Остановилось. Я снова толкнул. Сталь стукнула о дерево — тихо, глухо. Ещё раз. Катал его по кругу, слушал, как оно шуршит по щербатой доске.

— Из-за такой мелочи... — пальцы тронули щетину на подбородке. Кололо. — Что в этой вещице такого, что человек себя топит? Убивает того, кого любила. Мучает ребёнка. Оно даже не золотое. Как можно вкладывать так много в вещь, в безделушку, целую жизнь?

Я подкинул кольцо в ладони. Поймал. Поднёс к губам, коснулся языком. Холодное. Вкус железа, старое, застарелое, как кровь на монете.

— Ответишь мне сама?

Я поднял глаза. Дальний угол почернел. Тень там стояла плотная, гуще ночи. Перекрыла полдома — от половиц до потолка. Голова большая, как бочка, под самые балки. Руки тонкие, длинные, свисали вниз. Пальцы касались пола — белые, костяные, без ногтей. Больше ничего не видеть.

Голова чуть двинулась. Вбок. Медленно, как сова.

Из трещины в столе что-то шевельнулось. Я убрал руку.

Червь. Дождевой. Вылез из щели — бледный, скользкий. Тянулся вслепую, сокращался, удлинялся. За ним — второй. Третий. Зашевелились, заklubились, сплетаясь в узел.

Один упал на плечо. Я скосил глаз. Он полз по кафтану — белый, с розовым отливом, членики сжимались и разжимались. Мокрый след тянулся за ним.

Ещё один свалился в волосы. Запутался. Я чувствовал, как он ворочается, ищет путь. На стол посыпались новые — падали с потолка, с балок. На пол. Ползли по половицам, беззвучно.

По руке двинулась гусеница. Мохнатая, бурая, в рыжих крапинах. Перебирала лапками — медленно, волнами. Кожа зачесалась по влажной дорожке. Я не двигался.

Из стен лезли другие. Из щелей между брёвен, из-под пакли, из каждого стыка. Выдавливались, выпадали на пол. Воздух загустел, пропах влажной землёй, прелью, погребом. Во рту — сладковатое, с горчинкой. Как корень солодки, только тухлый.

Кожа встала дыбом. По спине пробежал холод — от затылка до поясницы. Руки то сковывало, то отпускало. Пальцы на серпе сжимались и разжимались сами.

Я смотрел в тень. Дыхание слышал — со свистом. Протяжное, медленное. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.

— Не боишься, — голос её хриплый, старый. Скрипел под кожей.

— Веселина?

— Была.

— А кольцо — твоё? — я стряхнул червя, что обвил сталь. Взял кольцо пальцами, протянул в сторону тени.

— Моё.

— Из-за него ты здесь?

— Давно бы забрала, если бы хотела. — Голова чуть подалась вперёд. Во тьме моргнули веки — влажно, тяжело.

— За Радима мстишь?

— Я его сама убила.

В половицах что-то двинулось. Чёрное, тонкое, как корень. Медленно ползло меж досок, извивалось.

— Зачем?

— Я не единственная у него была.

— А что тебе сестра твоя сделала?

— Ты меня убить хочешь?

— Да.

— Ничего плохого не хочу. Я Марьяну выкармливаю, забочусь. Чтобы большая росла, не голодала. — Тело в углу

чуть сменило позу, плечи развернулись, но из тени не вышло. — Агафья на неё как на обузу смотрит. Одну оставляет.

Я медленно встал. Кольцо покрутил в ладони.

— Раз тебе оно не нужно, я себе заберу. — Сжал в кулаке.

— Нет. — Голос стал звонким, девичьим, треснул на конце. — Отдай.

Рука поднялась в тени. Потянулась ко мне. Удлинялась, текла сквозь мрак — медленно, плавно. Вышла из темноты.

Луна ударила в оконце. Свет лёг на бледную кожу. Ладонь большая, в пол-аршина. Пальцы тонкие, суставчатые. Ногти чёрные, длинные, загнутые. Под каждым — грязь, засохшая, бурая. Кожа влажная, будто только из земли.

— Твоё молоко ребёнка губит. А твоё существование — семью.

— Не я это. А отец непутевый.

Её пальцы коснулись моей ладони. Кожа холодная, скользкая, как речная глина. Влажная. Ледяная. Прикосновение лёгкое, но от него побежал мороз по запястью, по руке, до локтя.

— Почему его не трогаешь?

— Пусть сам гниёт. — Её палец двинулся дальше, коснулся кольца. Задрожал. Сталь задрезала в моей ладони.

Я рванул серпом. Лезвие вошло в запястье — хруст, треск. Кровь брызнула на кафтан — прозрачная, как вода, но гуще. Рука твари упала на пол, ударилась глухо, как туша. Пальцы заскребли половицы, царапали дерево, сжимались и разжи-

мались сами.

Чудище засвистело. Звук тонкий, острый, вонзился в голову — в уши, в зубы, в глазницы. Я стиснул челюсть. Силуэт в углу поднялся. Голова чиркнула по потолку — балки загудели, посыпалась труха.

Я бросился на неё. Целил в шею — тонкая, как стебель. Ноги дёрнуло к полу. Чёрные, смоляные волосы обвили щиколотки, сжали, впились в кожу сквозь порты. Дёрнулся — не пускало.

Перекрутил серп в воздухе. Лезвие прошло у самой земли — волосы лопнули, разошлись, как гнилые нитки. Я вырвался.

Тварь кинулась на меня. Луна осветила тело. Голова огромная, круглая, как бочонок. Лицо плоское, без бровей, нос — две дыры. Глаза большие, чёрные, как у лошади, — без белков, без зрачков, одна влажная тьма. Волосы чёрные, смоляные, свисали до пояса, облепили плечи, грудь. Из обрубка руки хлестала прозрачная кровь, заливала пол. Суставы на ногах скрипнули — колени выгнулись в обратную сторону.

Пасть раскрыла. Зубы в ряд — гнилые обрубки, жёлтые, в буром налёте. Дохнуло землёй и падалью.

Я отпрыгнул в сторону. Она врезалась в стену. Брёвна дрогнули. Целой рукой ударила по столу — доски разлетелись в щепки, ударили в стену, в печь. Одна вонзилась в косяк. Зазвенело в ушах.

— Выем твои внутренности, — зашипела она.

Рука стала длиннее, махнула. Я пригнулся. Ладонь ударила о стену над головой — брёвна дрогнули, пыль посыпалась с потолка. Она сделала шаг ко мне, но я уже рванул вперёд. Лезвие серпа вошло в живот, потянуло кожу. Тварь взвизгнула. Пальцы обвили мою шею сзади, сдавили, рванули и бросили в стену.

С полки посыпалась посуда. Горшки, миски, кринка — всё вниз, с треском, со звоном. Черепки разлетелись по полу. Чудище шло на меня. Серп висел как маятник в пузе — качался в ране.

Из стены выстрелили волосы. Обвили правую руку, прилепили к брёвнам. Ладонь твари раскрылась — шесть пальцев. Вдавила в горло. Подошла ближе. Язык выскользнул из пасти — длинный, серый, шершавый, как коровий. Облизнула мне лицо. Запекло, будто крапивой. Слюна закапала на грудь — густая, едкая.

— Ненавижу вас, — просвистела тварь.

Я поймал рукоять пальцами. Дёрнул наискось. Кожа разошлась как тряпка. Она выпучила глаза — чёрные, бездонные.

Кишки вывалились на пол, прямо мне на ноги. Длинные, серые, в розовых прожилках. Пар пошёл от них — белый, влажный, как над навозной кучей в мороз. Запахло требухой.

Второй удар — по руке, что сжимала горло. Срезал. Культура заструилась, но пальцы ещё держали, впивались в шею.

Воздух уходил — грудь не поднять. Волосы резал вслепую, лезвие ходило туда-сюда.

Чудище опустилось на колени. Кульями собирало внутренности, запихивало обратно в брюхо. Ноги выгнулись в суставах — колени вверх, как у кузнечика. Суставы скрипели.

— Как же это! Как же это! — она размазывала кишки по полу. Сгребла в охапку, пыталась уложить в рану. Пальцы скользили, внутренности вываливались снова — серые, влажные, в стружке и пыли.

Я оторвал её пальцы от горла. Сжал серп. Присмотрел шею. — Прощай, Веселина.

Она обернула голову. Ноги откинули тело назад — прыгнула. Головой выбила оконце. Бычий пузырь лопнул, рама треснула, щепки брызнули наружу. Билась снова и снова. Доски стены вышли из пазов, посыпались. Половина тела вылезла во двор. Ноги скребли по земле, рыли глину. Пыталась вытолкать себя рывками — раз, другой. Брюхо цеплялось за край, кишки волочились следом.

Я срезал их. Раз. Второй. Лезвие ходило легко — кишки расходились как гнилая бечёвка. Тварь визжала, ноги отталкивались от земли, рыли глину, пока тело не просочилось в дыру. Брёвна хрустнули напоследок, и она исчезла.

Я выпрыгнул следом. Сапоги врылись в мокрую траву. Передо мной лесополоса — кусты ходили ходуном, ветки трещали. Влажный след уходил вдаль, блестел под луной. В деревне заливались собаки.

Я закрыл молодой глаз. Старый, выцветший, открылся. Серый, белёсый, как пепел. Мир потерял цвет. Деревья стали серыми, небо — белым. Даже тьма выцвела.

Чёрная дымка двигалась за лесополосой, вдали. Скакала, падала, снова вставала. Перебирала ногами по воздуху, цеплялась за ветки, рвалась вперёд.

— До реки не дойдёт. Надо добить.

Я стряхнул влажные ошмётки с серпа. Пошёл через лесополосу. Ветки хлестали по лицу. Под ногами хрустело. Старый глаз вёл — чудище маячило впереди дымным бликом, чёрным на сером.

Пошёл. Ветки хлестали по лицу, по плечам. Под ногами хрустел валежник, чавкала мокрая земля. Корни выпирали из темноты, цепляли сапоги. Я отводил их серпом. Лесополоса кончилась — дальше склон, поросший осокой. Спустился, скользя по глине.

Река лежала в низине — узкая, чёрная, в лунной ряби. Вода пахла илом и мятой.

Тварь лежала у кромки. Ноги бились судорогами, пальцы скребли глину. Тело бездвижное, распластанное. Голова огромная, круглая, ходила по земле — вперёд, назад, вперёд, назад. Рот хватал воздух. Глаза не моргали, смотрели вдаль, в чёрную воду.

Я присел рядом. Серп лёг на горло. Язык зашлёпал по земле, пыталась что-то сказать.

— Это не жизнь, — ответил я.

Дёрнул рукой. Лезвие рассёк шею. Голова покатилась в воду, булькнула. По реке пошли круги.

Я убрал серп за пояс. Из лесополосы приближались голова, факелы горели в ночи — оранжевые, дрожащие. Молодой глаз открыл. В голове потемнело, боль ударила по вискам.

— Надо тело убрать. Увидит кто — и сердце станет.

Я упёрся сапогом в бок твари. Толкнул. Тело скатилось в воду — глухо, тяжело. Река приняла его. Понесла медленно, разворачивая. Голова уже ушла на дно.

— Иди туда, откуда пришла. Веселина.

Вода сомкнулась. Круги разошлись и стихли.

Мужики стояли полукругом. Вилы, топор, у одного — рогатина. Пальцы сжимали древки до белизны. Две бабы с факелами — огонь дрожал, капала смола на землю. Шептались. Прикрывали рты ладонями.

— Доброй ночи. Простите, что разбудил, — сказал я.

Прошёл через толпу. Расступились. От меня шарахнулись — одна баба перекрестилась, мужик с рогатиной отступил на шаг.

Через лесополосу бежал отец Герасим. В исподней рубаше, босой. На груди болтался крест — большой, деревянный, тёмный от времени. Увидел меня. Остановился, дышал тяжело. Осмотрел — лицо, кафтан в прозрачной крови, серп на поясе.

— Лукьян... ну, что там было?

— Работа сделана. Не то, конечно, что я искал. Но что

поделать.

Мы пошли к дому. Истома стоял у дыры в стене, чесал голову. Увидел — подбежал. Глаза красные, сонные, зрачки бегали.

— Ты что там... свинью резал?

— Нет.

Вошли в дом. На полу — мёртвые черви, серые, скрюченные. Десятки. А там, где кишки лежали, — только влажный след. И запах земли.

— Где Марьяна? — спросил я.

— Агафья вернулась. Заплаканная вся. — Истома смотрел на след. Пальцем потрогал пол. — Тут же... были...

Я поднял доспех с лавки. Пластины лязгнули. Отец Герасим подошёл, взял застёжки, стал помогать — молча, споро.

— Мне пора, — сказал я. Меч закинул за спину. Ножны ударились о спину с глухим звоном.

— Куда ты в ночь? — повернулся батюшка. — У меня поночуй.

— Теперь всё хорошо будет? — спросил Истома.

— Да.

На дворе стояла Агафья. Улыбалась — устало, тихо. Марьяна сосала грудь. Ручки сжимали кожу. Пальчики розовые.

Истома застыл с раскрытым ртом. Потом засуетился, рукой пошурудил где-то за собачьей будкой. Вынес мне кошель — звонкий, тяжёлый. Протянул.

— Возьми, Лукьян. Спасибо тебе.

— Не таков уговор был.

— Ах да, да... — он забежал в дом. Шурудил там, гремел. Вышел, в руках — венок. Старый, очень старый. Цветы выцвели до серого, листья скрутились, бечёвка истлела. Протянул.

Я взял. Покрутил в руке. Сухой, ломкий. Пахло пылью и сухой травой.

— Это что?

— Веселина плела. На Купалу. Мне на голову надела, смеялась. Я сохранил.

— Прощай, — я сжал венок и пошёл к калитке.

Шёл через деревню. В некоторых окнах горели свечи. Кто-то стоял у плетня — тёмный силуэт, глядел вслед. Кто-то приоткрыл ставню, выглянул и спрятался. Собака тявкнула и смолкла.

Дорожка уходила в лес. Я ступил на неё. Деревья сомкнулись за спиной. Сосны, ели, под ногами мягкая хвоя. Ветки смыкались над головой, луна пробивалась полосами.

Воздух был свежий. Промытый. После духоты избы, после запаха требухи и земли — здесь дышалось. Ветер тянул сквозь стволы, охлаждал щёку, молодую и старую одинаково.

Сова ухала где-то слева — низко, утробно. Ух. Ух. Ух. Пауза. Снова. Сверчки трещали в траве — тонко, непрерывно, как сотня спиц. Волнами: то громче, то тише. Под сапогом хрустнула ветка — сверчки смолкли. Через миг завели снова.

Дорожка вилась меж сосен. Лунный свет ложился полосами — белое на чёрном. Венок шуршал в кулаке. На развилке лежал камень — большой, замшелый, врос в землю. Кто-то выбил на нём крест. Где-то в низине блеснула вода. Лунная дорожка дробилась на ряби.

Глава 3. Венок

Утро наступило серое. Лес поредел. Сосны сменились берёзами — белые стволы в тумане, как кости, воткнутые в землю. Трава мокрая от росы. Пахло грибами и берёзовым соком.

Поваленное дерево лежало поперёк тропы. Старая сосна, вывороченная с корнем. Корни торчали вверх — чёрные, в засохшей глине. Я подошёл, сбросил меч и серп. Сел на ствол. Ноги свесил. Болтал сапогами над землёй.

Достал венок из-за пазухи. Сухой, серый. Листья скрутились в трубочки, бечёвка истлела до нитки. Пальцем тронул цветок — рассыпался в пыль. Поднёс к носу.

Пахло пылью. Сухой травой. Старым воском. И ещё чем-то — сладким, едва уловимым. Так пахнет мёд, когда ему сто лет. Или волосы, которые давно не мыли.

Туман лежал по низине — белый, густой, как овечье молоко. Берёзы стояли недвижно, стволы влажные, в чёрных трещинах. Ветки свисали голые, редкие листья дрожали без ветра. Свет серый, рассеянный, без теней. Воздух сырой, тяжёлый.

Руки обвили мою шею. Обняли. На спину тело завалилось, прижалось. Ладони бледные, пальцы сплелись. Над ухом дыхание влажное, холодные губы коснулись.

— Что это у тебя? — голос мягкий, певучий, девичий.

— Венок. — Я поднёс его к её пальцам. Она коснулась сухого лепестка.

— Старый. Развалится скоро. — Обняла крепче, босые ноги оторвала от земли, повисла на мне.

— Ты, знаешь ли, не лёгкая.

— Удержишь. — Улыбнулась.

Я встал. За спиной стояла девушка невысокого роста. Лицо бледное, чистое. Глаза зелёные, яркие, как тина в пруду на солнце. Волосы белые, как колос, — на левой стороне коса густая, падала через плечо. Другую половину лица прикрыла чёлкой. Голову склонила набок. Белое платье свисало до колен, рваное по подолу. Руки убрала за спину, крутилась слегка из стороны в сторону.

— Нашёл что искал? — спросила она.

— Нет. Не то это было.

— Жалко её, да?

— От чего жалеть?

— Ну, знаешь. — Она присела на поваленное дерево, скрестила ноги. — Так за жизнь цеплялась, а тут ты пришёл.

— Для чего цепляться за неё, коль время вышло. Вечно никто не живёт. — Я закинул меч за плечо, повесил серп на пояс. — Кроме тебя.

— А может, я и не вечно живу. Откуда знать тебе? — Провела пальцем по лицу, глаза прищурила. — Я вот старая, потвоему?

— Ты живёшь по другим законам.

— Хорошо тебе служит? — кивнула она на серп.

— Да.

— А ты даже спасибо не сказал.

— Забыл. Прости... спасибо тебе за него.

Я пошёл дальше по тропе. Босые ноги застучали сзади.

— Лука, как твоя сестра поживает?

— Всё хорошо.

Шёл по тропе. Мара за спиной ступала босыми ногами по хвое — беззвучно. Ветки раздвигал, ей придерживал. Она прошмыгнула под рукой.

— Попросишь её, чтобы меня пустила к вам?

— Ты знаешь, что не пустит. Мара.

— Она меня даже не заметит. Я на чердаке жить буду.

— Зоря чует тебя за версту.

Тропа пошла вверх. Берёзы расступились. Впереди открылось поле.

Колосья стояли стеной — жёлтые, спелые, в рост человека. Ветер ходил по ним волнами: налетал — колосья кланялись, затихал — вставали. Пахло мёдом и горячей соломой. Солнце слепило, било в глаза. Над полем дрожал нагретый воздух.

Работники уже вышли. Мужики в белых рубашках, бабы в платках. Серпы мелькали — взмах, срез, взмах, срез. Кто-то вязал снопы, кто-то тащил их к телеге. Смеялись, перекликались. Лошадь фыркала у межи, отмахивалась хвостом от мух.

За полем, на взгорке, стояла деревня. Два десятка дворов, рубленых, крытых свежей соломой. Над крышами — дымки, ровные, белые. Церквушка деревянная, купол крыт лемехом, крест блестел на солнце. Частокол вокруг — высокий, новый, ещё не потемнел. У ворот — двое мужиков, видать, сторожа. Ворота открыты.

Я обернулся. Мара стояла в тени дерева, там, где кончалась тропа. Белое платье, белые волосы. Солнце не касалось её.

— Ну, я пошёл.

— Надолго?

— Не думаю. Работы стало больше.

— Хорошо. Тогда я подожду. — Она подняла руку, пальцы шевельнулись. — Пока, Лука.

Я вошёл в ворота. Стража — двое мужиков с дубинами — кивнули, пропустили. Улица утоптанная, посыпана песком.

Баба тащила корзину с бельём к реке. Двое мальчишек гнали гусей — птицы гоготали, растопыривали крылья. У кузни стучал молот, звон плыл по улице. Старик на лавке плёл корзину, пальцы ловкие, быстрые. Рядом собака лежала, выкусывала блох.

Навстречу попался мужик с конём в поводу. Конь гнедой, в мыле, видать, только с поля. Мужик поднял руку.

— Лука, доброго тебе.

Я кивнул.

Дом знахарки стоял на отшибе, у самого леса. Плетень

низкий, увитый хмелем. Под окнами — цветы. Много. Ромашка, зверобой, календула, ещё какие-то — жёлтые, синие, белые.

Во дворе куры рылись в земле. Петух прошёлся важно, тряхнул гребнем. У колодца — ведро, мокрое, только подняли. На верёвке сушились пучки трав — мята, душица, зверобой. Под навесом — ступка, котелок, глиняные горшки рядом. На лавке — чистая ряднина, сложена стопкой.

Зоря сидела на крыльце. Невысокая, ладная. Волосы русые, заплетены в тугую косу, убраны под белый платок. Лицо круглое, чистое, без морщин. Глаза серые, ясные. Губы тонкие, обветренные. Руки в земле — пальцы короткие, крепкие, с тёмными ногтями от трав. Рубаха льняная, простая, с вышивкой по вороту красной нитью. На поясе — нож в кожаных ножнах. Пальцы мяти траву в глиняной миске — мерно, неторопливо. Рядом — пучки сушёных корней, нож, ступка с пестиком. Подняла голову. Серые глаза.

— Помочь? — спросил я.

— Знаешь, в чём разница между болиголовом и дягилем?

— Нет.

— Один дышать помогает, от другого дыхания нет. — Она сдула прядь с лица. — Иди покушай. Я на столе кашу оставила. С тыквой.

Уголок рта потянулся вниз. Я посмотрел в сторону.

— Не кривись. Вкусная.

— Хорошо.

В доме пахло сушёными травами и печным дымом. Тихо. Половицы скрипнули под сапогами. Я снял меч, прислонил к стене у входа. Доспех расстегнул, стянул через голову — пластины лязгнули, легли на лавку. Серп повесил на крюк над лежанкой.

Лежанка моя стояла в углу, у печи. Доски широкие, старые, отполированные телом до гладкости. Овчина свёрнута в ногах. Подушка набита сеном — пахла летом.

Рядом, на полке, лежало то, что брал за плату. Кукла тряпичная — голова из льна, глаза углём нарисованы, одно пятно стёрто. Кольцо стальное, кривое, с тёмным камнем. Лапот детский, крохотный, стоптанный. Горсть сухих цветов, перевязанных ниткой. Икона медная, складень, позеленевшая по краям.

Я достал венок из-за пазухи. Положил рядом с куклой. Аккуратно, чтобы не рассыпался.

Сел за стол. В миске каша — пшённая, с тыквой. Жёлтая, в масляных пятнах. Пар уже не шёл. Я взял деревянную ложку, зачерпнул. Сладкая. Тыква разварилась, пшено мягкое. Масло — конопляное, с горчинкой. Ел медленно. Запил водой из кружки — холодная, с медным привкусом. Из ведра.

Зоря вошла в дом. Дверь притворила плотно. Прошла к столу, сгребла пустую миску, сполоснула в ведре. Руки вытерла о передник. Достала с полки пучок сухой мяты, растёрла в ладонях — по горнице поплыл холодный запах.

— Серой пахнет от тебя. Опять эта цеплялась?

— Мара. Да.

— Ты почему от неё подальше не держишься? Тебе мать что говорила? — Она ссыпала мятую в горшок, придавила пестиком.

— Как держаться-то? Она появляется внезапно. Да и добрая она.

— Ты знаешь, почему добрая. Душу твою не получила, теперь покоя тебе не даёт. Ждёт, когда вернёшь, чтобы вырвать. — Зоря поправила платок, завязала потуже. Руки в боки.

— Не серчай на неё. Плохого не хочет. Я бы понял.

— Вот именно, что не понял бы. Ты простой как валенок. Одурит голову твою. Бабой молодой притворяется, ишь ты. Лиса.

— Оставь её, Зоря.

Она села рядом. Локти на стол, подбородок упёрла в ладонь. Смотрела на меня. Глаза серые, ясные.

— Ворчливая стала я, да?

— Ты так говоришь, будто ты старая. Но да, ворчливая, как матушка. — Я убрал миску со стола, отнёс к ведру.

— Ты спать будешь?

— Да. Немного отдохну.

— Потом расскажешь, что там было?

Я сел на лежанку. Сапоги стянул, поставил рядом ровно. Доспех сложил на лавке — пластина к пластине. Меч прилонил к изголовью. Серп повесил на крюк. Лёг. Овчина пах-

ла домом.

— Лобаста была. Ребёнка кормила молоком своим. Старшая дочь Истомы. Пришлось убить её.

— Она была уже давно мертва. Ты не убиваешь.

— Ну, это как посмотреть.

Я отвернулся к стене. Закрыв глаза. Сон навалился сразу — тяжёлый.

Туман стоял над двором — белый, тёплый, как пар от свежего хлеба. Сквозь него проступало: плетень, колодец, старая яблоня. Небо жёлтое, будто солнце село только что и застыло.

Истома стоял у ворот. Молодой. Спина прямая, плечи развёрнуты. Борода ещё без седины, руки без дрожи. Смотрел на кого-то — и улыбался.

Веселина сидела на лавке. Ноги босые, платье белое, с красной вышивкой по подолу. Волосы русые, распущены по плечам, в них запутался закатный свет. Лицо светлое, брови вразлёт, глаза зелёные — как тина в пруду на солнце. Смеялась. Пальцы перебирали цветы — ромашки, васильки, колоски. Плела венок ловко.

Во дворе гуляли. Кто-то бил в бубен, кто-то хлопал в ладоши. Пахло дымом, мёдом, печёным тестом. Девки водили хоровод, мелькали сарафаны — красные, синие, жёлтые. Парни подбрасывали вверх шапки.

Девчока встала с лавки. Подошла к ИстOME, приподнялась на носки. Надела венок ему на голову. Он поправил его на

макушке — и улыбнулся.

Рядом появилась женщина. Жена Истома — платок белый, лицо круглое, тёплое. На руках — маленькая девочка. Агафья. Младенец тянул ручки к небу. Веселина подошла, наклонилась. Пальцем пощекотала сестрёнке живот.

Затем она выпрямилась. Медленно. Повернула голову. Лицо угрюмое, чужое. Смотрела на меня. Сквозь туман, сквозь праздник, сквозь годы.

Никто не видел. Истома смеялся. Жена качала младенца. Гости плясали. Только она и я.

Встал резко. Присел на лежанке. Глаза ладонью прикрыл. За окном темно — ночь, глухая, без луны. Грудь ходила ходуном. Пот стекал по виску, холодный. Каплю со лба стёр, потёр между пальцами.

Зоря спала в другом углу.

Сапоги натянул без скрипа. Доспех не надел — только кафтан накинул на плечи. Серп с крюка снял, повесил на пояс. Меч оставил. Дверь приоткрыл — петли не скрипнули. Вышел.

Улица встретила холодом. Темнота густая, только звёзды кололись в небе. Пахло сырой землёй и крапивой. Где-то далеко лаяла собака. Я стоял на крыльце, дышал. Ветер трогал волосы.

Прошёл по двору. Земля холодная, влажная от росы. Остановился у колодца. Воздух вдохнул глубоко — пахло мокрым деревом и ночной фиалкой. Ладонь приложил к гру-

ди. Сердце билось спокойнее.

— Лука!

Мужской голос. Кривой, сорванный. Я обернулся.

К калитке бежал мужик. С пухом, грузный. Шатался, ноги заплетались. Вцепился пальцами в доски плетня. Лицо красное, потное. Дышал ртом.

— Ты чего орёшь, Третьяк? Сестра спит. — Я подошёл ближе. От него несло перегаром — кислым, хлебным. Дыхание тяжёлое, с хрипом.

— Помоги, Лука. — Он перешёл на шёпот, губы тряслись. — Напали на меня. Укусил бес во сне.

Он стянул рубаху с плеча. Развернулся спиной. На лопатках — царапины. Мелкие, три полосы. Кожа вокруг красная, вздулась.

— Где?

— Дома у меня. На лежанке. Чуть насмерть не загрыз. Я брыкнулся, скинул. Она зашипела на меня. Я выбежал.

— С чего взял, что бес?

— Жинка прокляла меня. Настя, ведьма чёртова. Когда ушла с детьми, ругалась проклятиями. — Он расставил руки, чуть не упал.

— Настя не ведьма.

— Ты её не знаешь. Вся в мать свою. Та на свадьбе даже плюнула мне под ноги. Яблоня от яблони...

Крыльцо скрипнуло. Я обернулся. Зоря стояла в дверях. Заспанная. Платок накинут на плечи, концы придерживала

пальцами. Руки скрестила на груди. Смотрела на Третьяка. Глаза сощурены.

— Третьяк, опять надрался как чёрт, — зевнула Зоря.

— Зорюшка, красавица, любовь моей молодости всей! —

Он прижал руки к груди, пальцы сплёл.

— Любовь молодости? — Зоря покачала головой и ушла в дом. Дверь притворила без стука.

Третьяк перевёл взгляд на меня. Глаза мутные, красные, но с надеждой.

— Ну так что, Лука? Помоги. Заплачу.

— Ладно, идём. Только отдашь мне самую дорогую себе вещь.

— Конечно, конечно! — Он заулыбался, зубы жёлтые, щербатые. — Давай за мной!

Побежал. Шатаясь, цепляясь за плетни. Я — за ним.

Двор его стоял в низине, у самой околицы. Плетень завалялся набок, подпёрт жердями. Ворота висели на одной петле. Во дворе — лужа, не просыхала, видать, всё лето. Сарай покосился, крыша дырявая, заткнута тряпьем. У крыльца — куча мусора: битый горшок, старые лапти, обрывок верёвки. Две курицы спали на насесте, прижавшись друг к другу. Третья — дохлая, лежала у забора, лапки вверх.

Дом низкий, врос в землю. Оконце мутное, заткнутое тряпкой.

— Иди первый. — Третьяк сглотнул, кадык дёрнулся. — Я тут подожду.

Я прикрыл молодой глаз. Старый, выцветший, открылся. Мир побледнел. Ночь отступила — стала серой, как зола. Над домом смотрел. Ничего. Ни дымки, ни тени.

— Пусто тут.

— Клянусь жизнью, напали! Посмотри, Богом прошу!

Я толкнул дверь. Внутрь вошёл, пригнув голову. В нос ударило кислятиной — пот, брага, прокисшее тесто. Воздух спёртый, глаза резало. Я задышал ртом.

Горница маленькая. Печь не топлена, угли холодные. Стол у окна, на нём — две бутылки пустые, глиняная кружка, корка хлеба, засохшая до камня. На полу ведро валялось на боку, зерно рассыпано — видать, кур кормить шёл, не дошёл. У стены лежанка, одеяло сбито в ком.

Я взял бутыль. Поднёс к носу. Кислое, резкое, с гнильцой. Брага мутная, остатки на дне. Такой только душу травить.

Замер. Что-то прошуршало. Слабое, едва слышное — не скрип, не стон. Шорох. По стене.

Серп взял в руку. Рукоять обмотана зелёной тряпкой, тёплая от ладони. Прислушался.

Шорох сместился в угол. Там, где темнота гуще. Я шагнул. Половица скрипнула. Шорох затих.

Я ждал. Не дышал. Молодой глаз уже не видел — темно. Старый глаз приоткрыл. Серым проступили стены, лежанка, стол. В углу — пятно. Маленькое, с кулак. Тёплое. Живое. Дышало часто-часто.

Шагнул ещё. Пятно метнулось вдоль стены — быстро, юр-

ко. Я замер. Оно замерло. Снова шорох — теперь у потолка. По балке лезло.

Слушал. Звук — коготки по дереву. Мелкие, частые.

Шаг. Ещё шаг. Загнал в угол. Пятно сжалось. Я вскинул серп и ударил — точно в темноту.

Лезвие вошло в дерево. Хрустнуло. Тело задёргалось — хвост бил по стене, лапки скребли воздух. Насквозь.

Я поднёс серп к лицу. Крыса. Крупная, с локоть длиной. Шерсть серая, в проплешинах. Хвост голый, розовый, ещё извивался. Глаза чёрные, выпуклые. Из пасти — кровь, капала на пол.

Отцепил с лезвия, бросил в угол. Подошёл к лежанке. Одеяло сбито, в складках — крошки хлеба, пятна браги. На ряднине — след. Длинный, узкий. Хвост протащило. Рядом царапины — мелкие, три полосы, как у Третьяка на спине.

Лёг пьяный. Крыса под одеяло залезла. Он брыкнулся — она цапнула. Вот и весь бес.

Я вышел наружу. Третьяк переминался с ноги на ногу у колодца. Зачерпнул ведро, пил в захлёб. Вода текла по бороде, по груди.

— Ну что там? — Он вытер рот рукавом. Посмотрел на серп. — В крови... неужто убил...

— Крыса была. Ты, видать, пьяный на неё лёг. И получил. Он выдохнул. Плечи опустились.

— Как камень с плеч. Раньше не водились в доме. Видать, Настя прикормила, зараза такая.

— Пойду я тогда.

— Подожди. А плата?

— За крысу?

— Я человек слова, Лука. Спас ты меня. Жди тут.

Он побежал за дом. Калитка скрипнула. Шаги протопали, зашуршали. Из курятника донёсся грохот, куры закудахтали. Третьяк выбрался обратно — в руках бутыл. Полная. Подбежал, протянул мне.

Стекло мутное, грязное. Всё в перьях и курином помёте. Пробка — тряпица, забита глубоко. Внутри плескалось тёмное.

— Вот... со свадьбы осталась. Думал с новой жинкой открыть, да тебе отдаю.

— Брага? — Я потрогал стекло. Липкое.

— Можем выпить вместе. — Он потянулся к бутылки.

Я убрал руку.

— Оставь себе. А лучше вылей. Пить тебе меньше надо. Посмотри на себя, алкаш. Баба ушла, потому что ты пьёшь как свинья.

— Не обижай. — Он прижал бутыл к груди. Глаза заблестели. — Ушла, потому что ревность! Ревность, понимаешь?

Глава 4. Фартук

Я шёл через лес. Солнце стояло высоко, ветер тянул с востока, сухой. Пахло пылью и нагретой хвоей. Небо белое от зноя, без облаков. Листва на берёзах обвисла, трава у тропы пожухла. Лето перевалило за середину.

Первый силоч висел на старой ольхе. Пусто. Петля разболталась, прут выгнут — птица билась и ушла. Я снял бечёвку, смотал в кулак. Пошёл дальше.

Второй — у ручья, на заячьей тропе. Тоже пусто. Земля вокруг истоптана, человечесьи следы. Босые, детские. Кто-то прошёл, спугнул дичь. Я выдернул колышек, сунул за пояс.

Ручей обмелел. Вода текла тонко, журчала по камням. Я присел, ополоснул лицо. Холодная, свежая. Покалывало кожу. Вытерся рукавом. Достал из мешка новую бечёвку, прут ивовый, свежий, гнулся хорошо. Выбрал место выше по течению — там, где ольха нависала над водой, а на глине — птичьи крестики. Примял траву, вбил колышек. Петлю насторожил, проверил пальцем — ходит туго. Отряхнул колени.

Дальше по лесу пчёлы вились над дуплом, жужжали низко. Дятел долбил сухостой — стук разносился в голове. Ветер качал верхушки сосен, стволы скрипели. Воздух сухой, горячий, с горчинкой смолы. Под сапогами хрустела хвоя.

Третий силоч был цел, но пуст. Четвёртый — сорван, бе-

чёвка болталась на ветру. Я снял и его.

Голову приподнял. Трава мягко стелилась под стопой. Шаг лёгкий, не отсюда.

— Улова сегодня нет? — голос звонкий, с таким оттенком, который ласкает виски.

Я встал, оглянулся через плечо. Мара стояла рядом, руки за спину. Белое платье развивалось в такт движениям узкой талии. Волосы висели прямо, белые, как её чистое лицо.

— Сегодня пусто. — Я опустил к силку.

— Ты любишь охотиться?

— Для еды.

— Глупый вопрос задала. — Она подошла ближе. Босые ноги облепил мох. — Ты не в обиде?

Я подхватил силок подмышку.

— Нет.

Мы смотрели друг на друга. Голову склонила набок, наклонилась чуть ко мне. Улыбка лёгкая. Под глазами синева, будто не спит вовсе.

— Как Зоря поживает?

— Хорошо.

— Не страдает ли?

Я пошёл по тропинке в гущу. Она за мной.

— С чего страдать ей?

— Из-за тебя, наверное. Ты же не знаешь, как это — страдать. Да?

— Наверное, нет. — Сухая ветка хрустнула под сапогом.

— Почему думаешь, что ей плохо?

— Ну, знаешь ли. — Она встала спереди, развернулась ко мне лицом, шла задом наперёд. — Вот два дня молчит она. Сон приснился ей ужасный. О тебе.

— Какой?

— А ты у неё спроси. Я забочусь о ней. Когда сон тревожный и беду знаменует, людям тяжело держать в себе. Пусть расскажет — легче станет.

— Я спрошу.

Лес кончился. Впереди полегло поле — стерня жёлтая, сухая, колосья уже сняли. За полем — деревня. Крыши, дымки, частокол. Солнце клонилось к закату, красило небо в рыжее.

Мара осталась у крайнего дерева, в его тени. Ветви играли по её телу — свет, тень, свет, тень.

— Ты переживаешь за неё? — Я прищурился.

— За тебя. Она твоя сестра, хоть и не по крови, но дорога тебе сильнее, чем я. Спроси её. Пусть груз упадёт с её плеч.

— Спасибо, Мара.

Я пошёл через поле. Силки висели на плече — бечёвки, прутья, пустые петли. Ветер дул в спину, гнал по стерне сухие листья. У околицы встретил старуху с вязанкой хвороста. Собака у колодца подняла голову, проводила взглядом.

Дом стоял на отшибе. Из трубы дым. Зоря во дворе развешивала травы на верёвке — пучки мяты, душицы. Увидела меня, подняла руку.

Я сел на корточки у крыльца. Разложил силки — бечёвки спутаны, прутья треснули. Взял один, размотал петлю. Пальцы работали сами: узел развязал, прут выпрямил, бечёвку перетёр меж пальцев — где протёрлась, заменил новой. Второй силок — колышек расщепился. Вырезал новый, заострил ножом. Третий — петля не держала. Подтянул.

— Зоря.

— Мм. — Она перебирала травы на верёвке. Голову не подняла.

— Что снилось тебе?

Замерла. Губы сжались. Глаза смотрели в лес вдаль.

— Откуда ты знаешь? — Задрала голову, губы дрогнули. Взгляд скрылся.

— Мара сказала.

— Ну конечно. — Она усмехнулась. — Стоит тебе выйти ненадолго, она тут как тут.

— Она не так плоха, как ты думаешь. — Я стянул узел на последнем силке, отложил в сторону.

— Ты серьёзно? — Зоря посмотрела на меня. Глаза красным налились, влажные. — Она за тобой ходит, Лука. За душой твоей ходит. Думаешь, она друг тебе?

— У меня души нет. Я понимаю тебя: ты думаешь, что когда я верну её, Мара заберёт своё.

— Твоя душа — не её. Она твоя. — Зоря встала. Руки вытерла о край фартука. Пошла в дом.

— Зоря. — Я окликнул. Она встала у проёма. — Расска-

жи.

Сестра выдохнула. Не обернулась. Покачала головой. Платок перевязала, затянула потуже.

— Часть себя найдёшь ты в деревне гниющей. Бежать отсюда не может тот, кто проклят. Кто душу свою отдал в обмен на счастье, а вернуть не смог.

Я встал. Смотрел ей в спину.

— Душу отдал, а вернуть не смог... — повторил я. — Знает, мне туда.

Зоря подошла ближе. Лицо подняла — глаза серые, мокрые. Смотрела снизу вверх, не мигая. Губы сжаты. Морщина меж бровей — глубокая.

— Лука...

— Я буду осторожен.

Снял кафтан. Взял доспех с лавки — пластины чешуйчатые, холодные, в заклёпках. Накинул на плечи, застегнул ремни под мышками. Меч ржавый закинул за спину — ножны ударились о позвонки. Серп повесил на пояс. Рукоять легла в ладонь, потом отпустил.

— Ты знаешь, где погост этот?

— Знаю. — Зоря отошла к столу, опёрлась пальцами. — На восток иди, через овраг, за Мёртвый ручей. Там, в низине, у болота. Давно оттуда люди не появлялись. Живут в глуши. Но староста у них богатый, добрый очень. Только не видели его давно.

Я встал у калитки.

— Я вернусь.

— В ночь пойдёшь?

— Да.

— Береги себя, пожалуйста. — Она подошла, обняла. Руки тонкие, но сжали крепко. Платок пах мятой и дымом. — Если найдёшь то, что ищешь... не отдавай никому. Слышишь?

— Не отдам.

Я вытер слезинку с её щеки пальцем. Развернулся. Калитка скрипнула.

Овраг открылся за полем — глубокая рана в земле. Спустился боком, цепляясь за корни. Земля под ногами сухая, в трещинах. Глина спеклась, крошилась, осыпалась вниз мелкими камешками.

Внизу темно. Стены оврага смыкались над головой — высокие, обрывистые. Корни деревьев свисали сверху, как мёртвые змеи. Луна вышла из-за туч. Свет лёг на дно оврага — белый, холодный. Трава на склонах колыхалась без ветра. Серебрилась, переливалась. Стебли высокие, тонкие, гнулись друг к другу, будто шептались.

Я перешагнул через пересохшее русло. Камни под сапогами — гладкие, обкатанные водой, которой давно нет. На том берегу подъём — круче, чем спуск. Полез, хватаясь за пучки травы. Земля осыпалась из-под пальцев. Вылез. Отряхнул колени.

Спустился к ручью. Вода стояла чёрная, маслянистая. Ка-

мышы поднимались стеной — сухие, ломкие, выше головы.

Краем глаза заметил. Что-то светлое в камышах. Остановился. Пригляделся. Тело.

Подошёл ближе. Камышы расступились.

Девушка лежала навзничь, наполовину в воде. Голая. Кожа бледная, с синевой — ночь холодная, тело остыло. Молодая. Лет шестнадцать. Волосы русые, спутанные, набились илом и мелкой осокой. Лицо разбито. Губа рассечена, запёкшаяся кровь чёрной коркой. На скуле синяк. Глаза открыты — мутные, белёсые, смотрели в небо.

Руки связаны за спиной. Верёвка пенёковая, грубая, врезалась в запястья до мяса. Пальцы скрючены. Ноги босые, ступни в ссадинах — бежала. На бёдрах синяки от пальцев. На внутренней стороне — кровь, уже сухая, бурая.

Камыши зацепили её за шею. Верёвка, что была на горле, застряла меж стеблей. Тело покачивалось на слабой волне, билось боком о берег — неживое, безвольное.

Я присел. Пальцами коснулся щеки. Холод. Окочение уже прошло — тело снова мягкое, тяжёлое. Сутки. Крови под ногтями нет — не отбивалась. Держали крепко. На запястьях следы двух пар рук. Один за левую, другой за правую. Насиловали по очереди. Сперва один, потом второй. Следы разные — один глубже, другой мельче.

Умерла от верёвки. Горло передавлено — хрящи сломаны, кожа синяя. Задушили в конце.

Я опустил на корточки. Взял её руку — холодную, чу-

жую. Поднёс запястье к губам. Лизнул.

Кровь запеклась, но вкус остался. Соль. Пот. Земля. Под ногтями насильника — сухая глина, чернозём, палая листва... чеснок. Пахарь. Работал с утра. Держал крепко, но не ломал — пальцы короткие, широкие. От мозолей следы на коже.

Вторая рука. Чужие пальцы впились до крови — глубокие борозды от ногтей. Я наклонился, понюхал. Тот же запах. Пахарь. Лизнул. На языке — соль, пот, земля. И ещё что-то. Печёное тесто. Лук. Чеснок. Кислое молоко. Еда, которую готовит женщина. Домашняя. Одинаковая у обоих. Ели одно и то же. Из одной миски или за одним столом.

Родственники.

Третий держал за бёдра. Следы самые крупные — пальцы длинные, сильные. Насиловал последним. Я наклонился, понюхал кожу. Самогон. Кислый, резкий, дешёвый. Пытались ублажить её, один был пьян.

Я отпустил её руку. Поднялся. Ветер шевелил камыши. Девушка смотрела на небо мёртвыми глазами. Я развернулся и пошёл дальше. След вёл от ручья — через камыши, в лес.

Ветер качнул камыши. У самых ног, в двух шагах от тела девушки, земля была взрыта. Свежая горка — невысокая, присыпана хвоей и палой листвой. Наспех. Собачьи лапы торчали из-под земли.

Я опустил на колени. Разгрёб листья, откинул ветки. Земля рыхлая, пальцы ушли легко. Откопал.

Пёс лежал на боку. Крупный, серый, рёбра наружу — старый, худой. Пасть раскрыта, язык вывален, прикушен. Глаза остекленели, мутные. Шерсть на морде слипла от крови — чёрной, запёкшейся. На боку след от удара — били ногой, сильно. Рёбра прощупывались сквозь шкуру — два сломаны.

Я провёл пальцами по пасти. Собрал сгустки — тёмные, студенистые. Поднёс к лицу. Кровь пса. И ещё чья-то. Пёс рванул нападавшего, вцепился в ногу — под клыками остались волокна портов, кожа, сукровица. Лизнул. Соль. Пот. Тот же, что на запястьях девушки. Пахарь.

Пса забили до смерти. Я присыпал тело обратно — земля, листья, ветки.

Трое босых ног. Пятки глубоко в глине, носки растопырены. Шли быстро, тащили тело. У ручья следы обрывались — здесь её бросили в воду. Дальше — только мужские. Развернулись, пошли обратно.

У кромки леса следы ветками замели, присыпали хвоей. Но край пятки остался — глубокий, с трещиной на мозоли. Я пригнулся, провёл пальцем. Свежий. Ночной.

Вошёл в лес. Темно. Деревья стояли плотно, луна не пробивалась. Я шёл медленно, слушал. Где-то впереди треснул сук.

Потом — свет. Оранжевый, дрожащий. Факел.

Я подошёл ближе. Меж стволов брёл старик. Сухой, дряблый. Спина сгорблена, плечи острые. Одет бедно: рубаха льняная, ветхая, в заплатках. Порты подвязаны бечёвкой. На

ногах лапти, разбитые, солома торчит. Волосы седые, редкие, прилипли к черепу. Глаза светлые, выцветшие — видел плохо. Губы сухие, потрескались.

Услышал меня. Обернулся. Факел дрогнул в руке.

— Ты кто? — голос слабый, ломаный.

— Лукьян.

Он смотрел в стороны, шурился. Пытался разглядеть. Возраст брал своё.

— Ты не видел... девочку... невысокого роста... — Голос сорвался. — Светой звать. Пропала она. Внучка. Домой не вернулась вчера.

Я опустил взгляд. В левой руке он сжимал тряпицу. Фартук. Маленький, детский, с вышивкой — синий цветок, кривой, неумелый. От ткани шёл запах. Её запах. Тот же, что на теле у ручья.

— Что у тебя в руке, старик?

— Это... — Он поднял руку. Пальцы дрожали. — Фартук её. Сама шила. Я псу отдал своему, Буяном звать. Понюхать. Он искать пошёл по запаху.

— Почему ты один?

— Дак не было у неё больше никого. — Старик потёр глаз кулаком. — Рабочие мужики в полях. Она им носила воды, еды. Наверное, поганые уволокли. Дошли до нас.

— Где поле с рабочими?

— Там, за лесом. По тракту на восток, у оврага. Там и работают. С утра до ночи.

Я взял фартук у него из рук. Ткань ветхая, застиранная. Вышивка синей нитью — цветок с пятью лепестками, кри-вой, детский. По краю — следы пальцев, мелкие, девчачьи. Представил, как она повязывала его утром, как шла по двору, как поправляла на поясе. Как он бился о колени, когда она бежала.

Шею свело. Мышцы дёрнулись сами — раз, другой. Кожа скрутилась, будто чужая рука сжала изнутри. Пот выступил на ладонях. Я приложил ладонь к горлу — под пальцами билось, дрожало, не стояло. На лоб давило. На нос. Воздух стал гуще.

— Поможешь мне? — спросил старик.

— Нет... нет. — Я мотнул головой. Рот открылся сам. Лицо сморщилось. Глаза бегали — от факела к фартуку, от фартука к его лицу, обратно.

Я развернулся. Пошёл. Быстрее. Ещё быстрее. Ветки хлестали по плечам. Старик что-то крикнул вслед — я не слышал. Пальцы сжимали фартук. Горло дёргалось. Шёл, пока факел за спиной не исчез, пока темнота не съела всё.

Вышел к полю. Тело унялось. Горло отпустило. Лоб остыл. Я пощупал шею — ничего. Ладонь сухая. Пальцы больше не дрожали.

Дорога шла вдоль поля — утоптанная, в колеях от телег. Пыль лежала толстым слоем, сапоги вязли по щиколотку. По сторонам — стерня, сухая, колкая. Ветер гнал по ней пере-кати-поле.

Вдалеке горели огни. Костер. Искры взлетали в чёрное небо, гасли. Слышался смех, споры. Голоса мужские, женские. Кто-то пел — грубо, пьяно.

— Не нужно мне туда. В деревне идти надо, — сказал я.

Ноги шли. Голоса становились яснее. Смех — громче. Хриплый, раскатистый. Женский визг игривый. Звякнула кружка.

— Такое бывает. Есть сильные и слабые. Одинока была, вот и... — Ноги встали. — Вот и вышло так.

Я смотрел на лагерь издалека. Телеги полукругом, шалаши из веток. Кони у коновязи. Люди у костра — десяток, может, больше. Кто-то лежал, завернувшись в ряднину. Кто-то сидел, протянув руки к огню. Пламя плясало на лицах. Тени метались по телегам.

— Никто не виноват, что кто-то слаб, а кто-то силён. Мир никому ничего не должен. Несправедливость — это часть его. Его душа.

Я сжал рукоять серпа. Пошёл через поле. Ноги чувствовали землю — сперва твёрдую, утоптанную, потом мягкую. Пахота. Сапог ушёл глубже, в рыхлое. Пыль сменилась влажной глиной.

— Кто я такой, чтобы судить кого-то? — Нога ушла ещё ниже. Чавкнуло. — У каждого поступка есть причины и следствия. Которые уходят далеко, в самый корень.

Лагерь приблизился. Я встал у крайней телеги. Костер горел в центре круга. Мужики сидели на бревне — четверо. В

исподних рубахах, босые. Один точил косу, другой дремал, уронив голову на грудь. Двое играли в кости, ругались вполголоса. Женщина — немолодая, в платке — мешала варево в котле. Другая спала, привалившись к мешку с зерном. Пахло самогоном — кислым, резким. Свежим хлебом. Дымом.

— Путник, ты откуда такой? — подошла женщина. Запах самогона от неё шёл, но не пьяна. Глаза цепкие, усталые.

Все замолкли. Головы повернулись. Костер потрескивал. Искры летели в небо.

— Глянь, какой у него серп на поясе! — брякнул мужик с бородой, что сидел у огня.

— Таким серпом только головы рубить, — посмеялся молодой. Он лежал в обнимку со спящей женщиной, жевал травинку.

— Сядь к нам, выпей, — сказал бородатый.

Я присел у костра. Огонь жёг лицо. Смотрел в пламя.

— Ты доспехи носишь. Ты витязь? — Женщина присела рядом. Щёки покраснели, глаза с пеленой.

— Нет.

— А меч у тебя за спиной. — Другой мужик, тот что точил косу, кивнул на меня. — Для красоты, что ли?

— Ты, может, князю какому служишь? — Женщина наклонилась над ухом. Голову положила мне на плечо. — Заберёшь меня отсюда? В княжество твоё. Лучше уж я буду тебя с войны ждать и горевать, чем с пахоты.

Все засмеялись. Бородатый хлопнул себя по колену. Мо-

лодой закашлялся травинкой.

— Настя, Настя. — Бородатый покачал головой и кивнул под телегу. Там, в тени, лежало толстое тело. Храпело, брюхо ходило ходуном. — Твой Ждан увидит, как ты тут лепишься к витязю, — так сразу и тебе, и ему навешает!

Смех закатился. Женщина отодвинулась. У костра стояла корзина — небольшая, плетёная. В ней краюха хлеба, горсть соли в тряпице, кувшин с водой.

Глава 5. Стекло

Ночь лежала над полем глухая, без луны. Звёзды кололись в чёрном небе. Сверчки пели в траве, заливались, смолкали и снова заводили. Костер потрескивал, плевался искрами. Дым тянуло в сторону.

Я сидел на бревне, смотрел в огонь. Пламя лизало сухие ветки, плясало жёлтым и синим. Тени от пахарей ходили по телегам.

Женщина встала. Отряхнула юбку. Подошла к корзине — той, что стояла у края костра. Наклонилась, начала перебирать вещи. Движения резкие, дёрганные. Сгребла краюху хлеба, переложила. Звякнула кувшином. Ложка упала в пыль. Света... сказала же принести, дура малолетняя.

Я поднял голову. Она вытряхнула из корзины тряпицу с солью, бросила обратно. Пнула корзину носком сапога — та отъехала, накренилась. Хлеб вывалился в золу. Женщина цокнула языком, подобрала, отряхнула небрежно и швырнула обратно в корзину. Руки в боки.

Мужик под телегой храпнул так, что бревно дрогнуло. Телега держалась на двух брёвнах — одно целое, второе треснуло вдоль, щепка торчала. Колесо снято, лежало рядом, обод лопнул. Ось просела, врылась в землю. Храп то стихал, то снова набирал — утробный, с присвистом.

Женщина присела мне на колено. Легко, как перо. Лицо

круглое, щёки в рытвинах от усталости, но глаза живые, с искрой. Улыбалась — губы сухие, потрескавшиеся, но улыбка мягкая. Волосы русые, выбились из-под платка, упали на лицо. Она их не убрала. Смотрела на меня сквозь пряди.

— Если что... мой муж спит... — Голову склонила набок.

Огонь вспыхнул ярче. Сухая ветка занялась, пламя взметнулось вверх. Свет упал на моё лицо. Женщина отпрыгнула. Схватила за платье у груди, пальцы сжали ткань. Глаза вытаращила, рот приоткрылся. Всмотривалась.

— Что это с тобой? — голос дрогнул. — Что с лицом?

Молодой парень пробежал мимо, не оглядываясь. Наклонился к мужику, что спал в обнимку с женщиной. Поднял его за руку, отвёл в сторону. У парня рука перевязана — тряпица свежая, чистая, но на сгибе проступило красное. Говорил что-то быстро, руки раскинул. Второй чесал голову, оглядывался.

— Эй, ты слышишь меня? — Женщина подошла ближе. Голос тише, но уже без страха. Тянула шею.

Я поднял руку. Закрыл пальцем молодое ухо. Голова загудела — низко, глухо, как колокол в земле. Звуки полезли в другое ухо — резкие, яркие. Сверчки — каждый по отдельности, справа, слева, далеко. Храп под телегой — с хрипом, с бульканьем. Угли в костре — шипели, трещали, каждый щелчок как удар кремня. Дыхание женщины — частое, с присвистом в носу, биение сердца, как пот стекает по груди. Конь у коновязи переступил — копыто ушло в глину, чавк-

нуло. Где-то далеко мышь скреблась в мешке с зерном.

— ...Дед рыщет, — говорил молодой. Голос быстрый, с придыхом. — Говорил, подальше надо было. Тело прибило к камышам. Найдёт ещё к утру.

— Так ты чего её по реке не пустил?

— Ага, сейчас прям. В ночь не коснуться к ней, ещё утащит. Проклятье схвачу. Может, закопать?

Второй опустил голову. Чесал подбородок. Ногти ходили по щетине — шурх, шурх, шурх.

— Дай подумать...

— Ждана буди. Он пьян, пусть со стариком разберётся.

— Ты с ума сошёл?

— А что делать-то? Кто его, дурака старого, хватится?

В ушах писк. Тонкий, высокий. Я убрал палец. Звуки схлопнулись — мир стал прежним. Женщина хотела что-то сказать мне, но её отозвали. Свистнули. Она подошла к мужикам. Те говорили — быстро, вполголоса. Она башкой мотала. Второй взял косу, провёл пальцем по лезвию. Кивнул. Пошли вдвоём к лесу.

Женщина осмотрелась. Платье одёрнула, волосы закинула за плечи. Подбежала ко мне, пригнулась. Глаза карие, глубокие, с золотой искрой от костра. В них плясало пламя. Зрачки широкие, влажные. Смотрела снизу вверх — не моргала.

— Ладно, не красавчик ты, конечно, но и я не княжна. — Взгляд кинула на спящего мужа под телегой. Потом пальцем указала на дальнее дерево — старый вяз, одинокий, утонув-

ший в высокой траве. — Там буду ждать. Приди, как услышишь свист соловьиный. Это мой. Я так умею. Не придёшь — ох, многое потеряешь...

Я посмотрел на вяз. Ствол толстый, кора потрескалась, ветви низко, до земли. Трава вокруг — в пояс, седая от ночной росы. Луны нет, но ствол белел в темноте, как кость.

Женщина пошла. Трава сомкнулась за ней — только макушки колыхались. Из темноты мелькнуло белое. Она оглянулась. Улыбка — широкая, зубы блеснули. Пальцы стянули край платья с плеча — кожа бледная, гладкая. Ещё чуть — и ткань сползла ниже, оголила плечи. Потом повернулась и исчезла в траве.

Я встал. Подошёл к телеге. Мужик ворочался, голова высунулась из-под края — волосы в пыли, щека примята. Две доски торчали из-под оси, держали край. Я размахнулся, выбил одну. Отлетела в сторону. Телега покосилась на один бок. Мужик прищурился, пытался разлепить глаза. Вторую доску выбил. Край телеги рухнул ему на горло.

Глаза растопырил. Рот раскрыл. Руки и ноги задёргались под телегой. Глаза налились красным, жилы на лбу вздулись. Смотрел на меня. Я на него. Хрипел. Пальцы скребли землю.

Женщина, что спала рядом, всполошилась. Встала, увидела — и взвизгнула. Поползла в траву, пятками загребала. Я ногой надавил на доску. Лицо мужика покраснело, посинело. Из рта пахнуло чесноком, самогоном, луком. Затих. Кровь пошла через нос, через рот — тёмная, густая. Капала

в пыль. Глаза остановились. Открытые. Красные.

Я вынул меч из ножен за спиной. Сталь тусклая, рыжая от ржавчины. Лезвие в зазубринах. Рукоять обмотана старой кожей, потрескалась, липла к ладони.

Пошёл к лесу. Ноги несли. У кромки пригнулся. Следы — две пары сапог, свежие, глубокие. Один след шире, грузный. Второй уже, легче. Молодой. Трава примята, роса сбита. Здесь прошли. Только что.

Ускорил шаг. Ветки хлестали по лицу. Корни под ногами — перешагивал, не глядя. Где-то впереди треснул сук. Потом голос — молодой, звонкий, сорванный.

Я шёл. Ветки расступались. Впереди — два силуэта на поляне. Один поднял косу вверх, примерялся к ветке — хотел срезать или просто держал. Второй стоял рядом, руки в боки.

Я вышел из-за деревьев. Оба обернулись.

— Эй. Ты же...

Тупой клинок вошёл в горло. Хруст. Кадык мужика вмялся внутрь, кожа лопнула. Я отвёл меч. Он шевелил губами — кровавые пузыри. Коса выпала из рук, зацепилась лезвием за ветви, повисла. Он осел на колени, потом лицом в землю.

Второй побледнел. Глаза круглые, рот открыт. Дёрнулся — и дал дёру через поляну. Я провернул меч в руке, поднял над плечом и бросил. Клинок перевернулся в воздухе — глухой удар. Рукоятью по затылку. Парень рухнул лицом вниз. Руки болтались по земле, ноги скребли траву. Я подошёл. Встал над ним. Потом наклонился, выдернул меч из грязи.

Голова его ходила ходуном. Шею кривило вбок. Глаза открыты, мутные, белые. Я наклонился, взял за ногу и поволок. Тело шуршало по траве, оставляло примятый след. Подтащил ко второму. Бросил рядом. Оба лежали — один лицом в землю, другой смотрел в небо мутными глазами. Кровь из горла первого пропитала траву, чёрная в темноте.

Позади хрустнули сухие ветви. Свет озарил поляну — оранжевый, дрожащий. Тени от тел метнулись по траве.

Я обернулся. Старик стоял у кромки леса с факелом в руке. Смотрел. Глаза шурил, всматривался.

— Ты же... убил их... эти... я знаю их. — Голос дрожал. Старик отступил на шаг назад. Факел качнулся.

Я подошёл ближе.

— Я не сделал ничего... не трогай меня, пожалуйста. Я внучку ищу. Не говори только... — Он сжался, плечи ушли вверх.

— Отдай мне фартук. — Я протянул руку.

Старик шагнул ко мне. Пальцы дрожали — фартук ходил в них, как лист на ветру. Протянул.

— Вот... вот... я старик, не трогай меня... мне ещё внучку поднимать на ноги... ты ведь...

Я взял фартук. Сложил вдвое, закинул за пазуху. Повернулся и пошёл в лес. В другую сторону — не туда, откуда пришёл. Подальше от поля, от костра, от телег. Ветки смыкались за спиной. Свет факела дрожал ещё какое-то время, потом исчез.

Утро пробилось сквозь кроны — серое, тихое. Птицы завели осторожно, вполголоса. Хвоя под деревьями отсырела от росы, пахло грибами.

Сел на землю, спиной к сосне. Достал фартук из-за пазухи. Разложил на коленях.

Ткань льняная, грубая, застиранная до мягкости. По подолу — вышивка синей нитью. Цветок. Пять лепестков, неровных, один больше других. Стебель кривой, с двумя листиками — один жёлтый, другой зелёный. Нитки местами порвались, узелки торчали.

Поднёс к лицу. Понюхал. Запах слабый, но ещё держался. Дым от печи. Кислое молоко. И ещё — варёное тесто. Крапива. Она готовила накануне. Щи из молодой крапивы — весенние, постные. Крошила листья, заливала водой, солила той солью, что в тряпице. Варила для деда. Себе оставила край. Последнее, что сделала в доме. Перед тем как идти в поле.

Голову поднял. Мара сидела напротив, на поваленной сосне. Босые ноги висели над землёй — она играла ими в воздухе: носок вверх, носок вниз, пятки вместе, врозь. Белое платье свисало неподвижно. Волосы лежали на плечах. Смотрела на меня.

Я снял фартук с колен. Поднялся. Два пальца приложил к запястью — туда, где жила бьётся под кожей. Тук. Тук. Тук. Ровно.

Пошёл дальше по тропе. Хвоя пружинила под сапогами.

Ветки раздвигал, отпускал — они смыкались за спиной. У поворота обернулся.

Поваленная сосна пуста. Только солнечное пятно на коре.

Дорога изменилась. Из лесной тропы стала накатанной — колеи глубокие, в два ряда. Пыль лежала серым одеялом, без следов. Ни телеги, ни копыта.

Поля перед погостом лежали мёртвые. Стерня чёрная, гнилая, будто жгли, да не дожгли. Колосьев нет — только сорняк. Ромашка и та бурая, скрюченная. Земля в трещинах, сухая, как старый пергамент.

Ветви деревьев гнулись вниз, к земле. Изогнутые, как старческие пальцы. Кора серая, в наростах. Листья висели безжизненно, не шевелились. Ветра не было.

Тропа под ногами. Земля стала мягкой, податливой — не глина, не песок. Как зола пополам с мукой. Сапоги уходили глубже, чем надо.

Погост лежал впереди. Частокол низкий, почерневший. Крыши вросли в землю. Из труб дым не шёл. Тишина стояла плотная, как вода. Стая галок поднялась над лесом, долетела до края поля и свернула, рассыпалась с криком.

Вошёл в ворота. Створки открыты, петли не скрипнули — смазаны.

Улица широкая, утоптанная. Мужик катил бочку, баба развешивала бельё, двое ребятишек гоняли обруч палкой. В кузне стучал молот — мерно, звонко. Откуда-то тянуло свежим хлебом. Вдалеке, за околицей, палили скотину — запах

жжёной шерсти и мяса долетал с ветром.

Одеты были лучше, чем обычные деревенские. У мужиков рубахи целые, без заплат, подпоясаны кожаными ремнями. У баб платки новые, яркие, сарафаны с вышивкой. У детей сапоги — не лапти. На шее у одной — бусы.

Я шёл медленно, по середине улицы. Под ногами хлюпало. Лужи стояли широкие, неглубокие — вода прозрачная, чистая. Хотя дождя не было давно. Над полем сушь, пыль, а тут — влага. Земля тёмная, жирная, пропитанная, будто ключ подземный бил прямо под улицей.

Баба с бельём замерла на миг и проводила меня взглядом. Кузнец оторвался от наковальни, посмотрел, молот застыл в воздухе. Ребятишки остановили обруч.

Дома стояли добротные. Рубленые, конопаченные, крытые тёсом. У каждого оконце — и не бычий пузырь, а стекло. Мутное, в разводах, но стекло. Свинцовый переплёт, мелкие ромбы. Такое не в каждой волости увидишь. У одного дома ставни резные — птицы, цветы. У другого — крыльцо высокое, с точёными балясинами.

— Путник!

На крыльцо вышел мужчина. Высокий, плечистый. Кафтан синий, суконный, с серебряными пуговицами. Пояс кожаный, с бляхой. На руках — перстни: один с камнем красным, другой с печаткой. Лицо свежее, гладкое, без морщин. Усы русые, подкручены вверх. Борода короткая, ровная. Глаза светлые, с прищуром. Улыбался. Ноги передвигается руб-

лено, заваливается бок.

За ним вышли двое. Первый в шлеме — островерхий, с бармицей. Доспех чешуйчатый, до колен. Меч на поясе. Второй — мужик попроще, без шлема, но в доброй кольчуге, с мечом в ножнах. Оба встали по бокам от хозяина. Сопровождали.

— Давненько у нас гостей не было. — Мужчина спустился с крыльца. Остановился напротив. — Ты чей будешь?

— Лукьян.

— Оружие для чего тебе, Лукьян? — спросил тот, что позади. Голос низкий, грудной. Плечи широкие, руки как кувалды. Крепкий.

— Меч тупой и ржавый. Для устрашения. Серп для жатвы.

В стороне что-то свернуло. Будто солнечный луч прошёл по щеке. Кожу опалило на мгновение, до боли. Я повернул голову. Только отражение в окне — мутное, моё. Правая половина молодая, левая в морщинах. И что-то ещё мелькнуло в стекле, или разводы переливались.

— Что ж, меня зовут Добромир. Я староста Благого погоста. — Он огладил бороду. — А эти двое — моя охрана: Боян и Хорь.

Боян — тот, что в шлеме, — кивнул. Хорь, крепыш в кольчуге, стоял молча, руки на поясе.

— Так ты мимо проходил? Или решил зайти к нам? — спросил Добромир.

— Я устал с дороги. Ноги сами сюда пришли.

— Сами... — Староста сглотнул. Глаза забежали по сторонам.

— А что с лицом у тебя? — спросил Хорь.

— Ну-ну, где твои манеры. — Добромир улыбнулся. — Пойдём, Лукьян, за стол. Там и поговорим.

— Ты не знаешь меня и зовёшь за стол?

— К нам редко кто заходит. — Он уже шёл к дому. Спина прямая, перстни блестели на солнце. Боян и Хорь двинулись следом, по бокам от меня.

Дом старосты стоял на взгорке, выше прочих. Рубленый в два жилья, с высоким крыльцом. Внутри пахло мёдом. Полы дощатые, гладкие, устланы шкурами — медвежья у печи, волчья у порога, лисья на лавке. На стенах — оружие: два меча скрещены над очагом, рогатина у двери.

Добромир хлопнул в ладоши. Из боковой двери выбежала девушка — молодая, в чистом переднике, коса до пояса. Глаза опустила.

— Стол накрой. Гость у нас.

Она закивала и заметалась по горнице. Гремела посудой, стелила скатерть — белую, льняную, с красной каймой.

— Сюда садись, Лукьян. — Староста указал на лавку во главе стола. Сам сел напротив. Ждан и Хорь устроились по бокам. Ждан шлем снял — волосы русые, взмокшие. Хорь даже не тронул свой — островерхий, с бармицей. Так и сидел, только меч переложил на колени.

Стол был дубовый, тяжёлый, на резных ножках. По краю

— узор: листья, жёлуди. Скатерть чистая, без пятен. Подсвечник серебряный, свеча горела, хоть и день за окном.

Девушка носила блюда. Сперва — хлеб. Пшеничный, высокий, корочка блестела. Масло в глиняной плошке, жёлтое, пахло сливками. Потом — мясо. Запечённый поросёнок, ещё горячий, с хрустящей корочкой. Рядом — гусь в яблоках, разрезанный на куски, сок тёк на блюдо. Солёные грибы — рыжики, белые. Огурцы в укропе. Сыр в меду. В жбане — квас, тёмный, ядрёный. В кувшине — вино, красное, густое.

Добромир разлил по кубкам. Себе — вино. Мне — квас. Стражникам — тоже вино. Девушка всё подносила и подносила — студень с хреном, пироги с рыбой, каша с тыквой. Стол ломился.

— Живёшь как князь, староста, — сказал я.

— Ты на что-то намекаешь, гость? — выдавил Хорь, пальцы сжали кубок. — Староста честный человек.

— Хорь, ну-ка не бурчи. — Добромир поднял ладонь. — Мы вообще-то живём получше многих. Может я, даже как князь.

— Как так вышло? — Я отломил край хлеба. — Поля мёртвые, а вы...

— Живём припеваючи? — Добромир ухмыльнулся, глаза опустил. Повертел кубок в пальцах. — Трижды нам повезло. Первый раз — когда ремесленники из сожжённых городов пришли. Гончары, кузнецы, стеклодувы. Мы их приня-

ли, они нам — товар. Второй раз — когда купец проезжий сбился с пути и у нас застрял. Оказался богатый, заплатил щедро за постой. С тех пор торговый люд через нас идёт — знают, что приютят и накормят. А третий раз... — Он отпил вина, промокнул усы. — Третий раз — это наш уговор с землёй. Она не родит, зато даёт другое. Глину. Железо. Стекло. Мы копаем, льём, куём. И продаём. А хлеб покупаем. Так и живём.

— И всё? — спросил я.

Добромир жевал медленно. Челюсти ходили по кругу — раз, другой. Глаза опустил в тарелку. Жир с поросёнка капал с губ. Он промокнул рукавом. Молчал.

Глава 6. Отражение

Еда была вкусной. Поросёнок — мясо нежное, с хрустящей корочкой, жир таял на языке. Гусь — сладкий от яблок, сок тёк по пальцам. Солёные рыжики хрустели, уксус щипал нёбо. Сыр в меду — солёное и сладкое разом. Хлеб мягкий, масло свежее. Квас ядрёный, с пузырьками, бил в нос.

Боян резал мясо, не поднимая глаз. Хорь жевал, челюсти ходили тяжело. Шлем не снял, бармица колыхалась при каждом движении. Девушка-прислуга стояла у печи, руки сплела на животе, не шевелилась.

Добромир ел мало. Отрезал кусок, жевал нехотя. Кубок с вином держал в левой руке, перебирал. Глаза бегали — то на меня, то в сторону. Поглядывал. Встречался взглядом — улыбался. И снова в тарелку. Тишина в горнице стояла густая, только ножи стучали о дерево да огонь в очаге потрескивал.

Что-то коснулось моей ноги под столом. Я опустил глаза. Нога Добромира. Полы халата задрались, оголили колено. Деревянная. Голень из тёмного дуба, отполированная до блеска. Кожаные ремни охватывали бедро, уходили под одежду. Староста пошевелился — протез стукнул о ножку стола. Пальцы его опустились под стол, почесали вторую ногу. Ногти шкрябали по ткани, поднимали подол выше. Вторая голень — тоже деревянная. Такая же, с ремнями. Обе

ноги по колёно — мёртвое дерево.

Добромир глянул на стражников. Боян ковырял мясо, глаза в тарелку. Хорь пережёвывал, челюсти ходили мерно. Никто не смотрел. Добромир поправил халат, прикрыл дерево. Поднял кубок, отпил. Улыбнулся мне — губы дрогнули и замерли. Я отвёл взгляд.

— Значит, стёкла у вас повсюду, — сказал я. — Такого нет ни в одной деревне.

— Да, — выдохнул Добромир.

— Что не так? — спросил Боян.

— Это похвала, — я нарезал кусок мяса.

— Хозяин всегда хотел жить в роскоши, лучше других, а мы только рады, — подхватил Хорь.

— А вы откуда сами? — я повернул голову к стражникам.

— Нанял нас хозяин, — ответил Хорь.

— От кого защищаться здесь, в глуши?

— Живёт богато, вдруг кто придёт богатство отобрать. — Боян пододвинулся чуть ближе. Глаза блеснули в тени бармицы.

— А вы вдвоём защитите, значит, — я выпил кваса. Кислый. — Служили где?

— Не твоё дело. Ты лучше о себе расскажи, откуда мордой такой вышел? — сказал Хорь.

— Негоже стражнику болтать за столом больше хозяина, разве нет? — спросил я.

Боян смотрел на меня, затем на Добромира. Староста

смотрел в стол. Пальцы крутили кубок.

Во дворе звон стекла — острый, колкий. Стражники вско-
чили. Снаружи — женский крик, плач. Боян выбежал нару-
жу. Хорь за ним. Служанка у печи выдохнула, побледнела,
вцепилась пальцами в передник.

Добромир схватил меня за руку. Пальцы холодные, влаж-
ные.

— Помоги мне. Ты снился, дня три назад. — Пот тёк по
его лицу, губы тряслись. — Девушка в белом приходила.
Сказала тебя приютить. Поможешь? Спаси нас, молю тебя.

— Эти двое? — спросил я.

— Нет. Не только. В окнах живёт. В зеркалах. Говорит со
мною.

— Что с твоими ногами?

Служанка смотрела в окно. Губы шевелились без звука.

— Идут. Добромир, Хорь возвращается.

— Отрезали ноги. Чтобы не убежал.

Дверь распахнулась. Хорь вошёл в дом, сел за стол. Раз-
мял шею — хрустнуло. За стенами женский плач стал гром-
че, надрывнее.

— Что случилось? — спросил я.

— Мальчишка разбил окно. Игрался.

— Бывает и такое.

— Наказать надо, староста. — Хорь посмотрел на Добро-
мира. Глаза из-под шлема — тяжёлые.

Добромир сглотнул. Кадык дёрнулся.

— Хорошо. Я накажу. Позже. Как гость уйдёт.

— Не позже. Сейчас.

Староста встал. Голову опустил, закивал — быстро, мелко. В зеркало на стене бросил взгляд.

— Мы... скоро будем, Лукьян. — Голос глухой. — Подожди здесь.

Хорь поднялся. Вдвоём вышли. Дверь закрылась. Боян остался сидеть. Спина прямая, руки на столе.

Я встал. Прошёлся по горнице. На полке — глиняные фигурки: конь, птица, баба с коромыслом. Рядом — книга в кожаном переплёте, закладка — сухой цветок. На стене — зеркало. Мутное, в свинцовом переплёте. Стекло старое, в разводах. Подошёл. Увидел комнату — стол, скатерть, остатки еды. Своё лицо. И спину Бояна. Он сидел неподвижно, смотрел в стену.

— Как наказывать будете? — спросил я.

— По нашим порядкам.

— Могу узнать про них?

— Руки по локоть отрезать. Стекло нынче стоит дорого.

— Справедливо. — Я взял с полки подсвечник. Железный, тяжёлый. Ножка литая, в виде змеи. Воск налип буграми. — Чтобы не повадно было.

— Рад видеть понимающего человека.

Я подошёл к столу. Поставил подсвечник рядом с Бояном. Железо стукнуло о дерево — глухо, увесисто.

— Но какая польза от юнца без рук?

— Таких, как он, много. Одним больше, одним меньше.
В назидание.

— Ты прав. Любого можно заменить.

Я схватил его за шлем двумя руками. Рванул на себя — шея Бояна вытянулась, хрустнула. Ударил головой о подсвечник. Железо вошло в висок — глухо, влажно. Служанка взвизгнула, упала на пол, поползла в угол, загребая пятками.

Боян задёргался. Руки упёрлись в стол, пальцы скребли скатерть, сгребали в кулак. Ноги били под столом. Я надавил — голова ушла ниже, железо вошло глубже. Он захрипел, затих. Пальцы разжались. Скатерть сползла, потянула за собой миску. Та упала на пол, разбилась. Тишина. Служанка дышала в углу — часто, с подвыванием.

Зеркало блеснуло за спиной. Мать ходила в нём — как разводы по воде. Я подошёл ближе. Стекло подрагивало в переплёте.

— Не подходите, пожалуйста, — прошептала служанка из угла.

Я сорвал скатерть со стола. Накрыл зеркало. Ткань легла, скрыла мать.

Вышел на крыльцо. Толпа стояла полукругом. Мужики, бабы, дети. Молчали. В центре, у пенька, Хорь придавил мальчишку ногой к земле. Пацан лежал на брюхе, рука вывернута, пальцы царапали грязь. Топор в руке Хоря ходил по кругу — он точил его на весу, о камень. Искры сыпались на траву.

Рядом на коленях стояла женщина. Волосы распущены, платок сбит на плечи. Руки тянула к Добромиру, пальцы дрожали. Плакала без голоса.

Добромир стоял, отвернувшись.

Я прошёл через толпу. У стены дома стояло зеркало — битый кусок, в человеческий рост. Отражало мальчишку, прижатого к пеньку. Хорь кинул на меня взгляд. Замахнулся топором, на меня.

Мой серп срезал ему руку. Кисть упала на землю — пальцы ещё сжимали рукоять. Толпа закричала, брызнула в стороны. Бабы хватали детей, мужики попятились.

Хорь схватился за культю. Кровь хлестала между пальцев — толчками, чёрная на свету. Выл сквозь зубы. Остриё серпа вошло в горло. Рванул. Кадык разошёлся надвое — белое, красное. Он упал на спину. Топор выпал из мёртвой кисти.

Мальчишка вскочил. Подбежал к женщине, уткнулся лицом в подол. Она обхватила его, прижала к груди. Плакала уже в голос — громко, взхлёб. Добромир стоял, где стоял. Смотрел на тело Хоря. На меня.

— Господи, помоги нам, — Добромир упал на колени. Руки сцепил. Пальцы белые, тряслись.

Тучи сгустились над погостом. Капли упали с неба — редкие, тяжёлые, шлёпали по пыли. Воздух стал серым, потемнело, будто вечер наступил разом. Вдалеке, над полями, светилась ясность, но здесь, в деревне, тьма легла плотно.

— Что это? — спросил я.

Зеркало блеснуло. В мутной глубине что-то мелькнуло — из стороны в сторону. Задрожало. Рёв раздался по округе — низкий, утробный, из земли. Окна в домах замигали, зеркала, что лежали у стен, задрожали. Отражения в лужах поплыли рывками.

Я подошёл к зеркалу — здоровенному куску, что стоял у стены.

— Лукьян, не подходи! — крикнул Добромир.

Из стекла выплыло лицо. Огромное, во весь рост. Кожа, натянутая. Срослась в шею — длинную, как червь. Ни глаз, ни носа. Только зубы навывкат. Ровные, как у лошади, крупные, без губ. Тварь шевелила головой медленно — вправо, влево. Исчезла.

Рёв ударил снова. Из обломка вылетела рука — размером с бревно, без кисти, культя, обтянутая кожей. Врезалась мне в грудь. Боль — тупая, глубокая, как удар тараном. Выдох выбило. Хруст — внутри, в рёбрах. Серп вылетел из руки. Меня откинуло в стену дома. Доски треснули, посыпались на голову, на плечи. Длинная культя втянулась обратно в зеркало. В стекле зарябило. Тишина. Только дождь застучал сильнее.

Рык надо мной. Я поднял глаза. Из окна дома две длинные культы упёрлись в стены, тянули себя наружу. Доски трещали. Добромир упал на землю, тело затряслось в судорогах. Мужик, что нёс ребёнка через двор, подкосился, рухнул — оба покатались в пыль.

Голова твари вытянулась из окна. Длинная шея. Безглазое нечто смотрело на меня — и две огромные лапы ударили в землю, где я только что лежал. Я откатился. Удары глухие, как топот коня. Земля вздрагивала.

Вскочил на ноги — прямо в лужу. Тварь влезла обратно в окно. Под ногами мелькнуло. Опустил глаза. Отражение — моё лицо, и рядом её голова. Смотрела снизу, из воды. Культя ударила из лужи — в ногу. Меня подкинуло в воздух. Полёт — короткий, слепой. Спиной проломил крышу сарая. Солома, доски, труха. Тело завалилось внутрь, в бадью с водой. Брызги в стороны. Свиньи завизжали, разбежались по углам. Затаптали по мне — копыта скользили по доспеху, по рёбрам. Визг, хрюканье, пыль. Я лежал в воде, смотрел в проломленную крышу.

Выбрался из обломков. Сарай осел, балки торчали в небо. Серп лежал на земле, в грязи. Кувыркнулся за ним, подхватил, встал в стойку.

Огляделся. Деревня пуста. Ни души на улице. Окна переливались в серости — мутные. В каждом — движение. Дождь барабанил по крышам, по лужам. Староста лежал у крыльца, скрючившись, обхватив голову. Ещё двое — в пыли, не двигались.

Рёв разнёсся снова — отовсюду. Я крутанулся, осмотрел спину. Окон сзади нет. С боков — тоже. Присел на корточки, чтобы не попадать в отражение луж. Дождь хлестал по спине.

— Я найду тебя, — сказал я.

Молодой глаз закрыл. Мир побелел. Дома, земля, небо — всё ушло в белёсую муть. Затем проступило красное. Дымка. Густая, плотная. Залила каждый дом, каждый угол. Всю деревню. За ней не разглядеть ни стен, ни окон.

— Везде?

Окна дома напротив рванули. Стёкла брызнули во все стороны — звон, хруст. Два этажа, пять окон. Стёкла рухнули, доски сложились в единый осколок, огромный. Отражал меня — маленькую фигуру посреди пустой улицы. Я вздохнул. Рёв отразился в костях. Топот копыт — будто табун.

Из отражения выскочила тварь. Ростом в дом. Голова и шея — единое целое, безглазое. Четыре конечности, на концах — ровные культы. Топтали землю, пыль взметнулась столбом. Лапы как у животного, длинные, суставчатые. Туловище короткое, обтянутое кожей, рёбра проступали. Белые зубы навывкат.

Летела на меня. Я бросился в сторону. Лапы монстра вошли в дома за мной — выбили стены, проломили крыши. Тварь влетела в дом, исчезла в темноте проёма. Тишина. Пыль оседала.

— Лукьян! — крикнул Добромир. Стоял на ногах, шатался. — Скорее в подвал, пока оно не набралось сил!

Побежал к своему дому. Люди, что лежали на земле, вскочили, бросились по дворам.

Я за ним. Вбежали в дом. Добромир схватил служанку за руку, потащил за собой. В сенях — люк. Откинул. Лестница

вниз, в темноту. Спустились быстро. Подвал тесный, земляной. Стены в корнях, потолок низкий — я пригнулся. Ничего нет. Только голые доски на полу. Воздух спёртый, пахло сырой глиной и плесенью. Служанка забилась в угол, обхватила колени. Добромир опустил на доски, дышал ртом. Я стоял у лестницы, слушал. Наверху — тишина.

— Посидим тут, — выдохнул Добромир. Привалился спиной к земляной стене. — Тут ни стёкол, ни бутылок. Ничего, что отражает.

Я стянул доспех. Пластины лязгнули, легли на доски. Задрал рубаху. Два ребра с левой стороны — синюшные, кожа над ними вздулась. При каждом вдохе — боль.

Служанка подползла ближе. В руках — полоса чистой ряднины, оторванная от подола.

— Давай... обмотаю, — голос дрожал. — Рёбра сломаны.

— Как тебя зовут?

— Милава.

Она стала обматывать. Пальцы холодные, мелко дрожали. Ткань пошла вокруг груди — туго, плотно. Замерла. Глаза уставились на левый бок — туда, где кожа старая, в морщинах. Рёбра под ней сухие, проступали острее, чем справа. Будто тело старика, пришитое к молодому. Милава выдохнула, перекрестилась.

— Говоришь, сил набирается?

— Да. — Добромир выдохнул, голову запрокинул к стене. Глаза закрыл.

— Что это такое?

— Лихо это. — Он взялся за свои колени, пальцы сжали ткань.

— Откуда оно взялось?

Староста смотрел себе под ноги. Голову опустил низко. Руками зачерпнул землю с пола. Пропускал сквозь пальцы.

— Пришло ко мне, когда молод был. Беден я был. Босьяк. Дочь моя с голоду умирала — маленькая совсем, пять годов. Жинка ещё раньше померла, родами. Остались мы вдвоём. Деревня наша выживала с трудом — поля не родят, скотина дохнет, люди пухли от голода. А дочь моя... — Голос дрогнул. Он сжал землю в кулаке. — Горела вся. Жар, кашель, губы чёрные. Я её на руках носил, молока просил у соседей — никто не дал. У самих ничего.

Добромир разжал кулак. Земля посыпалась.

— Сижу ночью у неё, плачу. А на стене зеркальце висело — маленькое, мутное, от мамки ещё осталось. Глянул в него — а там не я. Там я сижу в доме богатом, едой завален. Стол ломится. Деревня вокруг цветёт, люди мне кланяются, любят меня. И голос из зеркала: «Отдай дочь. Я сделаю тебя богатым. Деревню твоей. Никто голодать не будет». Я согласился. С отчаяния. Дочь умерла к утру.

В подвале тихо, только дыхание Милавы да капли дождя где-то наверху.

— А потом дела пошли. Сперва купец забрёл, заплатил щедро. Потом гончары пришли, кузнецы — деревня подня-

лась. Я богатеть стал. Дома отстроил. Жить стали хорошо. Все вокруг голодали — а мы нет. Торговцы сами шли, богачи заезжали. Только уехать я не мог. Пробовал — ноги отнялись. Отрезали. Лихо не пускает. Пока я тут — деревня живёт. Уйду — всё рухнет. Так и сижу. Двадцать лет. С деревянными ногами. С зеркалами по всей деревне.

— Оно тебе сказала окна повсюду поставить и зеркала?

— Да.

— Раз всё хорошо, то зачем тебе избавляться от него?

— Ты посмотри. — Добромир ухмыльнулся, задрал халат выше колен. Деревяшки стукнули о доски. — Это же не только я такой. Всем, кто хоть раз пытался уйти из деревни, ноги отрезали. И руки. Сколько уже сгубилось людей. А новые приходят — им нравится тут. Сытно, тепло, работа есть. Женятся, детей рожают. А как только за околицу шаг — всё. Убежать пытались. Наши, деревенские, в лесу находили их. Без рук. Без ног. Лихо не отпускает. Никого. Как только решил остаться здесь, всё.

— Что ему с этого?

— Почем знать мне. Говорит, уговор такой был. Вот и живи...

— Почему попадали все, когда тварь явила себя?

— Страх. — Добромир потёр лицо ладонями. — Ударяет в ноги, в руки. Падаем и двигаться не можем. Дезертиры приходили однажды, хотели разжиться. Попадали все. Тварь выбежала, затоптала всех. Пятеро с ума сошли, наши. Дру-

гие, кто бежать пытался, — в лесу остались. Не убежали. — Он поднял голову, посмотрел на меня. — Но ты стоял.

— Стоял.

— Значит, и убить его можешь?

— Кто знает. Если оно раньше не убьёт меня. — Я оперся о стену. Потрогал перевязанные рёбра. Боль стрельнула в бок. Скривился чуть. — Лихо — это не чудище. Это не бес. Это судьба. Которую человек сам навлекает на себя. И она не радуется.

— Судьба, значит... верно сказано... — Добромир опустил глаза. — У нас нет голода. Болезней. Тишь и спокойствие. Да вот только...

— Да уж.

Я прикрыл глаза. Дышал мелко, осторожно. Земляная стена холодила затылок. Милава сидела в углу, обхватив колени.

— Тварь бьёт телом, парализует страхом, а тело можно порезать. Пытается затоптать, но долго вне отражений находиться не может, — я почесал бороду. — Да и зубы такие, что череп расколют.

Милава взялась за голову, закачалась из стороны в сторону.

— Добромир, может, тебя убить — и всё спадёт?

Староста поднял голову. Лицо вспотело, глаза растопырил на меня.

— Хотя нет. — Я оттолкнулся от стены. — Ты просто по-

вод. А нужно ему что-то другое.

Глава 7. Лихо

В подвале стояла тишина. Земляные стены глушили звуки. Воздух тяжёлый, воняло сыростью. С потолка свисали корни — тонкие, сухие, как мёртвые жилы.

Добромир сидел, отвернувшись к стене. Спина сторблена. По щекам текли влажные дорожки. Капли скатывались в бороду, застревали.

Милава держалась за голову. Пальцы сомкнулись на волосах. Не двигалась. Глаза открыты, смотрели в земляной пол. Дышала тихо, поверху.

Снаружи — ничего. Будто деревня вымерла. Я сидел у лестницы, привалившись спиной к холодной глине. Серп лежал на коленях.

— Добромир, — сказал я.

Его голова дёрнулась.

— Ты говорил, что Лихо лишает ног и рук тех, кто пытался сбежать.

— Да. Говорил.

Милава приподняла голову.

— Те, кто наблюдали за наказанием мальчишки, — все целы.

Добромир дышал глубоко. Ноздри раздувались. Глаза в пол. Руками обхватил колени.

— Как ты встретил Бояна и Хоря? — добавил я.

— Они... ну... они пришли. — Староста нахмурил брови.
— Наёмники. Пришли, я нанял... чтобы дела всегда шли хорошо... но...

Милава кинула на меня взгляд — сквозь сальные волосы.

— В какой момент? — уточнил я.

— Будто всегда были тут. Я уже и не припомню.

— А Милава? — Я посмотрел на неё. Она сидела не шелохнувшись. — Как она стала твоей служанкой?

Добромир поднял глаза. Рот открылся. Всматривался в неё — долго, будто впервые видел. Глаза щурил, бровь дёргалась. Слеза катилась по щеке.

— Лукьян, — сказала Милава. — Скажи, почему все падают от страха, а ты нет?

— Милава... зачем ты... — пробормотал Добромир.

— Потому что тварь воздействует на дух. Она отражает то, что у человека внутри, и искажает это в угоду себе. — Я смотрел ей в глаза. — У меня духа нет.

— Как нет? — Добромир поднял голову.

— Когда я был младенцем, мою душу принесли в жертву.

Староста сглотнул. Девушка продолжала смотреть — не моргая.

— Значит, она у тебя когда-то была...

Воздух гуще. Давил на грудь, на виски.

— Это тебе не поможет, — сказал я. — Лихо...

Её зрачки застыли на мне. Волосы не шевелились, закрыли пол-лица. Добромир переводил взгляд с меня на неё и об-

ратно.

— Лукьян, что ты... — выжал из себя староста. Слеза блеснула на щеке, покатилась в бороду.

Я провёл пальцем по его щеке. Вытер. Потёр влажный палец о другой. Милава улыбнулась.

— Что это значит, Лукьян? — спросил Добромир. Голос дрогнул, сорвался в шёпот.

— Это значит, что нет никакой деревни. Такая огромная тварь, живущая в зеркалах, рассеивающая жителей в момент выхода, чтобы убить. А сейчас оно сидит перед нами.

Добромир посмотрел на Милаву. Лицо побледнело — серое, как зола.

— Но как? — Губы его затряслись. Он подполз ко мне, вцепился в рукав. — Тут нет зеркал...

— Слеза.

Девушка склонила голову набок, прижала колени к груди.

— Выйди отсюда. Я выпотрошу тебя. Ты, наверное, гнилой внутри.

— Милава... ты... — Добромир сглотнул.

— Воздух такой спёртый тут. Скоро кончится. — Её рука дрогнула. С пояса вышел нож.

Она бросилась на меня одним рывком. Я сжал её запястье у лица. Староста отполз к стене. Она смотрела на меня, оскалившись. Шея вытянулась длиннее — кожа натянулась, позвонки проступили. Вцепилась зубами мне в шею.

Боль. Зубы сомкнулись, потянули кожу. Я вставил ей

пальцы в рот — она прикусила их, хрустнуло. Второй рукой вцепился в челюсть, сжал до хруста. Рот раскрылся. Отцепилась.

Я отодвинул её. Схватил за горло и ударил о стену. Глина осыпалась. Её повело — руки упали. Ещё раз. Ещё. Тело рухнуло на пол, распласталось. Кровавый след на стене. Ноги бились в судорогах.

Староста перекрестился.

— Господи. Всё кончено?

— Нет. — Я потёр палец, жгло. — Оно снаружи. Надо идти.

— Может... я тут посижу? Ты справишься?

— Без тебя нет. Ты нужен. Всё на тебе завязано.

— Но ты же сказал...

— Для твари сказал. — Я присел напротив него. Вытер пот с лица рукавом. — Скажи, ты намерен избавиться от него?

— Да... да... за девочку мою, за доченьку. Не хочу я этого проклятья. Господь свидетель.

— Тогда, что бы я ни сделал, прими это с мужеством. Уговор?

— Что ты имеешь в виду?

— Уговор?

Он сжал глаза. Морщины на висках сложились. Открыл. Кивнул.

— Тогда на выход.

Я встал, поднялся по лестнице.

— Лукьян. — Он остановил меня. Голос тихий, надтреснутый. — Скажи, зачем ты помогаешь? Я ведь никто. Обычный дурак, который наделал делов, загубил всех.

— Я думал, что найду здесь того, кого давно ищу. Не нашёл. Видать, сон сестры и предсказание — ошибка.

— А что искал ты?

— Кто его знает. Я сам и не скажу. — Я положил руку на ручку двери. Махнул Добромиру.

Он встал. Деревяшки стукнули о доски. Подошёл, тяжело, с хрипом. Доска под его стопой скрипнула. Я толкнул дверь.

В горнице темно — свечи погасли, только серый свет сочился сквозь мутные стёкла. Стол пуст. Скатерть сорвана, подсвечник валялся на полу. Тело Бояна лежало там же, где я его оставил. Кровь запеклась чёрной коркой на виске.

Я перешагнул через него. Добромир — следом. Деревяшки глухо стучали о половицы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.